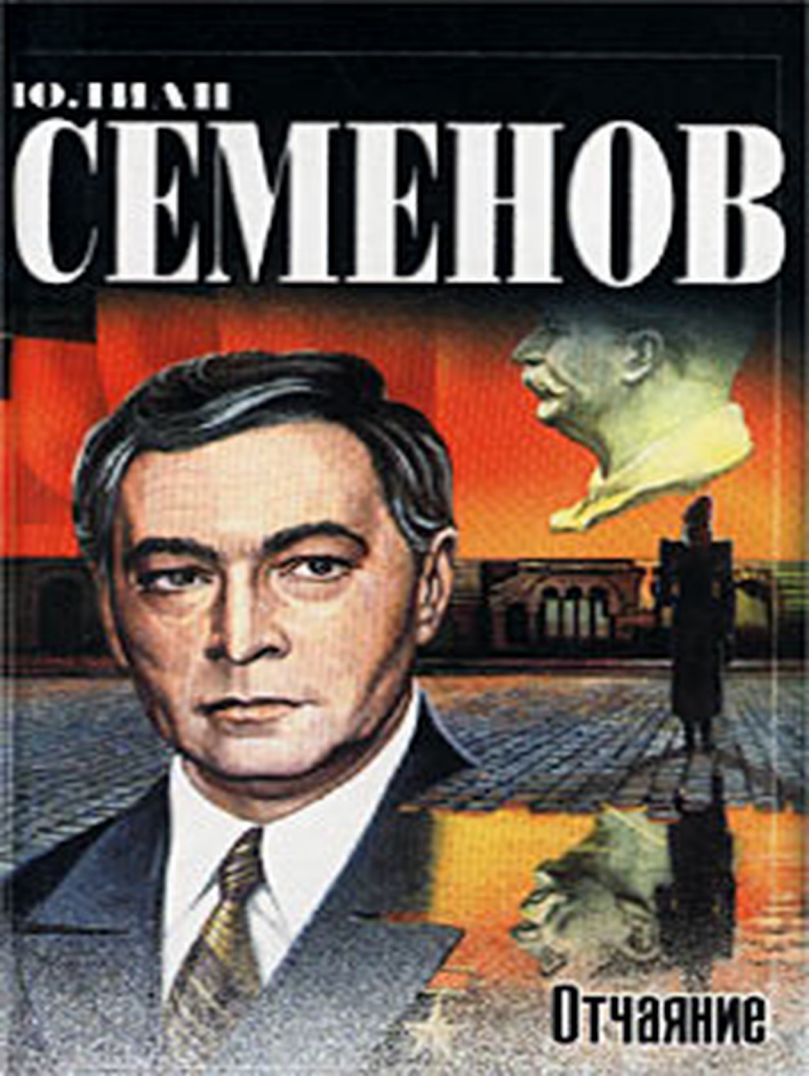
Ю. ВЛАДИМИРОВ

СЕМЕНОВ



Отчаяние

Отчаяние

Юлиан Семёнович Семёнов

Аннотация
Юлиан Семенович Семенов. Отчаяние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Эпилог

Аннотация

1947 год. После удачного похищения бывшего шефа гестапо Мюллера Исаев-Штирлиц переправлен в СССР. Но вместо заслуженного признания его ждут новые испытания. Он заключен в лубянскую тюрьму и должен сыграть свою роль в игре сталинского МГБ против шведского дипломата Рауля Валленберга. В этой страшной игре он потеряет почти все, что ему было дорого.

Текст электронной публикации соответствует изданию: Семенов Ю. С. Отчаяние // Семенов Ю. С. Собрание сочинений. Т. 4. Политические хроники. 1945–1953. М.: МШК МАДПР, ДЭМ, 1993.

Юлиан Семенович Семенов. Отчаяние

Светлой памяти моего друга Шандора Радо («Дора») посвящаю

1

Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собою постоянный, изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо — человека, который приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все было съедено. Возможно, в уху мешали снотворное, потому что сразу после этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытье; противиться судьбе он был не в силах уже, воспринимая происходящее отстраненно, равнодушно.

Однажды, правда, сказал:

— Я все время потный... Очень жарко... Можно принять душ?

— Никс фарштеен, — ответил человек, и тогда Исаев понял, что все эти дни уху ему приносил русский.

Не может быть, сказал он себе, чтобы наши проломили мне голову в порту; это какой-нибудь власовец; я не имею права ему открываться; какое же это было счастье, когда я добрел до нашего торгпредства, и *открылся*, и слышал *своих*, ел щи и картошечку с селедкой, и постоянно торопил

товарищей, чтобы они выехали туда, где ждал помощи Роумэн с запеленутым Мюллером, а они успокаивали меня, говорили, чтоб я не волновался, уже, мол, поехали; хотите еще рюмашку; надо расслабиться; вы ж *дома*, сейчас мы вас довезем до порта, тут оставаться рискованно, знаете ситуацию лучше нас, пойдете по седьмому причалу, там вас встретят, угощайтесь, *дорогой*...

Как же лихо меня перехватили, сонно думал он; стоило нашим отстать на сто метров всего, стоило мне остаться одному — и все! Я ж знал, что меня пасут, постоянно, каждодневно, ежечасно пасут, надо было бежать сквозь этот масляный, липкий провал портовой затаенной темноты и очутиться возле сходен нашего корабля, а я не бежал, у меня сил не было бежать, и какой-то вялый туман в голове до того мгновения, пока я не ощутил раскалывающий треск в темечке, и это было последнее, что я ощутил тогда, на берегу Атлантики, в душных тропиках, пропахших рыбой, мазутом и канатами, — у каждого каната в порту свой особый запах, странно, почему так?

...Утром тот же человек поднимал его, снимая с ног веревки, и вел в туалет; дверь закрывать не разрешал, внимательно смотрел, как он корчился над узкой горловиной гальюна; на корточках дол-

го сидеть не мог: снова ломило в позвоночнике, как до того дня, пока его не вылечила индианка, когда ж это было? Как ее звали. Квыбырахи? Или это вождь, ее муж? Ее звали Канксерихи, кажется, так...

...На гвозде висел один лист белой бумаги, его приходилось долго разминать, потому что бумага была канцелярская, твердая, чуть ли не картон.

— Слушайте, — сказал как-то бессловесному человеку Исаев, — неужели на судне нет пипифакса?

— Никс фарштеен, — заученно ответил тот, надевая на запястья Исаева наручники.

...Он мог осознанно, *поэтапно* думать лишь утром, перед походом в гальюн — до ухи и перед ухой-ужином; все остальное время лежал в мокром беспамятстве, руки в наручниках, ноги повязаны, словно у коня в ночном, тело задеревеневшее, лишь изредка сведет судорогой икры, но он воспринимал эту судорогу как благо, свидетельство того, что жив, что происходящее не бред, а явь, самая что ни на есть реальность...

Он потерял счет дням, но понял, что плавание длится долго, потому что брюки не держались на нем — от жары похудел; попросил дать ремень.

— Никс фарштеен...

Через несколько дней он сказал:

— Переверните матрац, он мокрый, вы меня так живым не довезете, накажут...

— Никс фарштеен, — ответил человек, и в глазах у него сверкнуло ледяным, искристым холодом.

Однако назавтра, когда его повели в гальюн, матрац заменили: вместо того, который превратился в мокрую, пропахшую потом и мочой труху, бросили пару байковых одеял. На одном из них он обнаружил выцветшее клеймо: «т/х Валериан Куйбышев».

...Значит, правда, сказал он себе; значит, все, что я гнал от себя все эти годы, чему запрещал себе верить, что постоянно рвало сердце, — правда.

С мучительным стыдом он явственно увидел лица Каменева, Кедрова и Рыкова, когда семнадцатилетним впервые переступил порог Смольного в Октябре. Он в три дня легко освоил вождение «мотора» и попеременно возил на французском авто Антонова-Овсеенко и Подвойского.

Отец проводил дни и ночи вместе с Мартовым и Либером; встречались редко, ночью, чаще всего под утро.

— Севушка, — говорил тогда отец, — ты с те-

ми, кто не хочет думать о реальностях. Нельзя удержать власть в одиночку! Нельзя отбрасывать всех, кто начинал революцию в этой стране, сие чревато...

— Папа, даже мудрейший и честнейший Владимир Львович Бурцев кричит: «России нужна сильная личность, хватит болтовни, необходим порядок, пора действовать!» Это же страшно, папа: призыв к «сильной личности» означает путь в военную диктатуру и новую монархию — пусть наполеоновскую, но монархию! А вы? Что предлагаете вы, меньшевики? Где ваша программа?

«Ждать»?! Но ведь придет новый Корнилов, расставит казаков по углам и вас же повесит на столбах вместе с нами и товарищами эсерами... Армия доведена до белого каления, армия готова на все: она не прощает проигранных войн...

— Лебедь, рак и щука, — вздохнул отец. — Когда сегодня Керенский назвал происходящее на улицах «бунтом черни», Мартов заклеймил его как человека, объявившего гражданскую войну революции... Даже член партии Керенского чистейший Миша Гоц потребовал от Временного правительства программы... Да, мы подвержены извечной хворобе русского либерализма — болтовне и пустым дебатам, — но нельзя требовать

власти одной партии, это такая же диктатура, как бурцевская «сильная личность»... Я обещаю тебе поговорить с Бурцевым, Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто играет азартную игру во власть...

— Предложение? — сухо спросил он отца. Как же мы умеем обижать максималистским тоном, как же безжалостны мы в вопросах, на которые нет и не может быть однозначных ответов...

Отец тогда посмотрел на него с укором:

— Думать, Севушка, думать... Ты прав, мы с Мартовым и Плехановым болеем традиционной болезнью — споры, поиск оптимального пути, составление резолюций, просчет вероятий, боязнь крутых решений... Все верно, сынок, на то мы и русские, но примет ли народ западноевропейскую модель революции, которую столь решительно предлагают Ленин и Троцкий? Об этом ты думал?

...Когда человек принес уху, Исаев *собрал* себя, был готов к *работе*: натужно сблевав в миску, он оттолкнул ее, отвалился на спину, застонал:

— Воды-ы-ы... Умираю... Скорей...

Он перешел на русский; да, я у своих, «т/х Куйбышев», но *свой* ли я *этим* своим?!

А если я им не свой, значит, пришло время

работать.

Человек, испуганно глянув на Штирлица, прогрохотал по лестнице своими громадными бутсами, и, когда он убежал, а несъеденная уха со снотворным или какой иной гадостью, медленно зыбясь на металлическом полу, стекла в угол отсека, — в такт работе машин, — Исаев расслабился и сказал себе: времени тебе отпущено немного, начинай готовиться к тому, во что ты запрещал себе верить, — как можно верить перебежчикам вроде Баженова, Кривицкого, Раскольникова?!

А ты, спросил он себя, ты, который был весь Октябрь в Смольном, ты искренне верил тому, что писали о *нас* в конце тридцатых? Нет, ты не верил, ответил он себе со страхом, но ты считал, что дома происходят процессы, подобные тем, что сотрясали республиканский Конвент Франции, — Марат, Дантон, Робеспьер... А кем ты считал Сталина? Робеспьером или Наполеоном? Отвечай, приказал он себе, ты обязан ответить, ибо врачевать, не поставив диагноз, преступно... Почему Антонов-Овсеенко тогда, в Испании, во время последней встречи, смотрел на тебя с такой плачущей, бессловесной тоской? Почему он не ответил ни на один твой вопрос, а сказал лишь два слова: «приказано выжить»? Почему он

запретил тебе возвращаться домой? Почему он повторял, как заклинание: «Главное — победить здесь фашистов...»

А почему ты отказался вернуться в Москву, когда тебя наконец вызвали — накануне войны?! Только ли потому, что ты считал невозможным бросить работу против нацизма?

Ты боялся, признался он себе, ты попросту боялся, потому что все те, кого начиная с тридцать седьмого вызывали в Москву, исчезли навсегда, бесследно, словно канули в воду...

Ты спрятался за спасительное антоновское «приказано выжить», ты решил *ждать*... Сын своего отца — ожидание никогда не приводит к победе... Точнее — «одно ожидание»... Не надо так категорично отвергать великое понятие *ждать*... Ждут все: и Галилей в тюрьме инквизиции, и палач, готовящийся к казни Перовской, и Станиславский, выходящий на генеральную репетицию, и тиран, замысливший термидор, и революционер, точно чувствующий ту минуту, когда необходимо выступить открыто и бескомпромиссно. Ты успокаивал себя придуманной самозащитой: крушение гитлеризма неминуемо поведет к изменению морального климата дома...

Не ускользай от самого себя, приказал он себе. Ответь раз и навсегда: ты верил, что Каменев, Бухарин, Рыков, Радек, Кедров, Уншлихт — шпионы и враги?

Ты никогда не верил в это, сказал он себе и почувствовал освобождающее облегчение. Но тогда отчего же ты продолжал служить тем, кто уничтожил твоих друзей? За что мне такая мука, подумал он. Почему только сейчас, у *своих*, ты должен исповедоваться перед самим собой?! Это не исповедь, а пытка, это страшнее любой пытки Мюллера, потому что он был врагом, а моих друзей убивали мои же друзья...

Он вспомнил их маленькую квартирку в Берне, вечер, отца возле лампы, книгу, которую он держал на своей большой ладони — нежно, как новорожденного; вспомнил его голос, а из всех отцовских фраз, которые и поныне звучали в нем, — особенно трагичные: «Отче святый, — говорили недовольные Годуновым патриарху Иову, — зачем молчишь ты, видя все это?» Но чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал; «Видя семена лукавствия, сеямыя в винограде Христовом, делатель изнемог и, только господу Богу единому взирая, ниву ту недобруя обливал слезами...»

А потом отец читал о некоем *человеке* князя Шестунова по имени Воинко, который донес на своего барина, и за это ему сказали царское жалованное слово и отблагодарили поместьем. «И поощрение это произвело страшное действие: боярские люди начали умышлять всяко над своим барином, и, сговорившись человек по пяти-шести, один шел доносить, а других ставил в свидетели; тех же людей боярских, что не хотели души свои губить, мучили пытками и огнем жгли, языки резали и по тюрьмам сажали, а доносчиков царь Борис жаловал своим великим жалованием, иным давал поместья, а иным — из казны — деньги. И от таких доносов в царстве была большая смута: доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, даже жены доносили на мужей своих, а дети — на отцов, так что от такого ужаса мужья таились от жен своих, и в этих доносах много крови проливалось неповинной, многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали»...

Отец тогда оторвался от книги, внимательно посмотрел на сына и заключил: «Борис не мог проникнуться величием царского сана и почерпнуть в нем источник спокойствия и милости... Борис и на престоле по-прежнему оставался

подозрительным... Он даже молитву придумал особую для подданных, при заздравных чашах. «Борис, единый Подсолнечный Христианский царь, и его царица и их царские дети на многие лета здоровы будут»...»

А знаешь, спросил тогда отец, сколько погибло в Москве от голода в ту пору? Не отгадаешь: полмиллиона человек! Зато хоронили всех за царские деньги, а хлеб купить, что немцы в Архангельск привезли, Борис запретил: «Негоже иноземцам знать про наши дела, мы самая богатая держава Европы, такого мнения и держаться станем!»

...Исаев услышал грохот торопливых шагов и сразу понял, что спускаются двое — один в бутсах, знакомый ему «никс фарштеен», а второй ступает мягче, видимо, в ботинках.

Действительно, второй был в лакированных туфлях на босу ногу, в плавках и с докторским чемоданчиком в руке.

— Эй, — сказал он, всячески избегая русских слов, — блют прессион, гиб мир ханд...

Исаев затрясся от приступа смеха, пришедшего изнутри как избавление от безысходности. Рта он не разжимал, губы пересохли, кровоточили; если позволить себе рассмеяться в голос, кровь

потечет по подбородку, шее, груди, а у него выработалось особое отношение к себе — он постоянно видел себя как бы со стороны, так же оценивал свои поступки; не терпел неряшливости, был точен до секунды, всегда ощущал в себе часы, ошибиться мог на пару минут от силы, жил по собственному графику, в котором не было таких слов, как «забыл», «не успел», «не смог».

— Пусть наручники снимет, — прошамкал Исаев. — Как же вы мне давление померяете?

— Никс фарштеен, — повторил тот, что в бутсах, и снял наручники.

...Исаев поверил в магию индейцев, убедившись в их великом, недоступном нам *знании* на собственном опыте; он научился сдерживать дыхание, учащать пульс, останавливать его даже; ну, меряй, подумал он, я тебе подыграю, испугаешься...

Через час его перевели в другое помещение, где не так грохотало и не было угарного машинного смрада, обтерли мокрым полотенцем и дали чашку воды — она была сладкой, без *подмеси*, поэтому проснулся он рано, часа за три перед тем, как должен прийти *уханосец*. Он был убежден, что не ошибается во времени, и не торопясь начал допрашивать себя, силясь понять, чего же от

него хотят *свои*?

...На третий день корабль пришвартовался: голосов по-прежнему слышно не было. Спустился «никс фарштеен», снял наручники, бросил пиджак и туфли, дождался, пока Исаев оденется, натянул ему на голову капюшон и, подхватив под руку, повел по скользким, маслянистым лестницам наверх.

На палубе, вдохнув свежего воздуха, Исаев упал. Сколько был в беспамятстве — не помнил, ощутил себя на кровати, шелковая подушка, мягкое, верблюжьей шерсти одеяло. Руки и ноги были свободны, пахло сухим одеколоном, чем-то напоминавшим «кёльнскую воду».

Он пошарил рукой вокруг себя, натолкнулся на лампочку, включил ее: стены комнаты были отделаны старым деревом, окна закрыты тяжелыми металлическими ставнями; в туалете нашел английскую зубную пасту, английское мыло.

Ты дурак, Исаев, сказал он себе; ты посмел грешить на своих и раскрылся, ты заговорил по-русски, чего не делал четверть века, тебе крышка, одна надежда и осталась — на *своих*. Мыслитель сратый, русскую смуту вспоминал! А чем она отличалась от тех, что были в Англии?..

2

— Здравствуйте, я ваш следователь, меня зовут Роберт Клайв Макгрегор. После того как мы проведем цикл допросов, вы вправе вызвать адвоката: если бы вы не были тем, кем были, мы бы дали вам право пригласить любого адвоката уже на этой стадии следствия.

— А кем я был? — поинтересовался Исаев.

— Мы располагаем достаточной информацией о вашем прошлом. Суть следствия заключается в том, чтобы во время нашего диалога окончательно расставить всё точки над «i».

— Могу я задать вопрос?

— Пока мы не начали работу — да.

— Вы назвали свое имя, но я не знаю, какую страну вы представляете...

— Я представляю секретную службу Великобритании. Удовлетворены ответом?

— Вполне. Благодарю.

— Фамилия, имя, место и год рождения?

Исаев готовился к такому вопросу, он понимал, что все зависит от того, кто, где и как будет произносить эти, казалось бы, столь простые слова,

но, услыхав их, ощутил растерянность, не зная, что ответить...

...Приученный двадцатью пятью годами к тому, чтобы анализировать, рассматривая и оценивая с разных сторон не то что слово, но даже паузу, взгляд и жест — как свой, так и собеседника, — Исаев был убежден, что своим, вернись он на Родину, и отвечать не придется, там все знают... Однако во время морского, столь страшного путешествия с «никс фарштеен» он раскрепощенно, с душащей обидой и презрением разрешил себе наконец *услышать* тот вопрос, который жил в нем начиная с тридцать шестого года, после процесса над Львом Борисовичем и Зиновьевым; «А, собственно, кто теперь знает обо мне, если Каменев, Зиновьев, Бакаев и даже курьер Центра Валя Ольберг — враги народа?»

В тридцать седьмом, когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто знал его отменно: Артузов, Кедров, Уншлихт, Бокий, Берзинь, Пузицкий, он ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвалась пуповина, связывавшая с изначалием; с осени тридцать девятого люди из Центра вообще перестали выходить на него.

Пакт с Гитлером он принял трагично, много пил, искал оправдания: объективные — находил,

но сердце все равно жало, оно неподвластно логике и живет своими законами в системе таинства под названием «Человек».

...Именно тогда Исаев заново прочитал книгу Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Париже, который выступил с разоблачением Ягоды, Ежова и Сталина. Исаев хорошо знал Кривицкого, у них было три встречи в Париже и Амстердаме во время прогулки на туристском катере по тихим каналам, над которыми медленно стыли чайки; тогда его отчего-то поразило, что они не кричали, как на берегу или в порту, странно...

Сразу после того, как уход Кривицкого стал сенсацией, в тридцать седьмом еще, Исаев затаился: «если он предал — значит, назовет имена Шандора, Треппера и мое». Цепь, однако, продолжала функционировать; отозвали трех товарищей — видимо, боялись за них, но потом *докатилось*, что дома их расстреляли...

Значит, Кривицкий хранил в себе то, что ему предписывал долг? Значит, он не открыл имен *товарищей* по борьбе с нацизмом? Значит, действительно он ушел по идейным соображениям? Предатель в разведке прежде всего открывает имена друзей, но ведь Вальтер знал Яна, Кима, но ни словом не упомянул о них...

...Кривицкого убили, он унес с собой имена товарищей, никто в Европе не был схвачен; значит, он выбрал путь политической борьбы против террора, а не измены?

Тем не менее Исаев тогда сменил квартиру и лег на грунт, стараясь понять, нет ли какой-то связи между происходящим дома и тем, что ежечасно затевалось в сером здании на Александерплац и в тех конспиративных квартирах, где он мог появляться, не вызывая подозрения у руководства. Как никто другой, он четко знал внутренние *границы* рейха: «это мое дело, это мой агент, это моя информация — не вздумай к ним прикоснуться; собственность».

Он заметил ликование в РСХА, когда пришло сообщение, что на партконференции из ЦК «за плохую работу» был выведен бывший нарком иностранных дел Литвинов; иначе, как «паршивый еврей, враг НСДАП», его в Германии не называли.

Именно тогда в баре «Мексико», крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем Штирлица и, бряцая стаканами, чтобы помешать постоянной записи всех разговоров, которые велись тут по заданию Гейдриха, шепнул:

— Зачем война на два фронта? Ведь Сталин

расстилается перед нами! Он капитулировал по всем параметрам! Он подстраивается под наши *невысказанные* желания, чего ж больше?!

Штирлиц отправил шифрованную телеграмму об этом из Норвегии, приписав, что ответа может ждать только один день, дал адрес отеля — не своего, а того, что был напротив. Через пять часов неподалеку от парадного подъезда остановился «паккард», вышли трое: заученно разбежались в разные стороны — рассматривать витрины; тот, кто сидел за рулем, отправился к портье, пробыл там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал; троица осталась.

Через десять минут Исаев позвонил портье, назвался Зооле — тем псевдонимом, который тогда знала Москва, спросил, не приходил ли к нему, директору Любекского отделения банка, господин высокого роста в бежевой шляпе.

— Он только что ушел, господин Зооле, очень сожалею! Хотите, чтобы я послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси.

— Нет, спасибо, — ответил Исаев, — пошлите вашего человека в отель «Метрополь», это наискосок, пусть оставит портье письмо моего друга, он же принес мне письмо?

— Оно передо мной, господин Зооле, сейчас оно

будет в «Метрополе».

В шифрописьме говорилось: «Спасибо за ценнейшее сообщение. В Берлин вам возвращаться рискованно, позвоните в посольство, назовитесь и оставьте адрес, о вас позаботятся...»

Через полчаса Исаев, сломанный и раздавленный, выехал на аэродром и взял билет в Берлин...

А может быть, действительно в стране случилось самое страшное и к власти пришли те, кто *хочет* Гитлера? Кто же его хочет?

И он не посмел тогда дать ответ на этот вопрос — жалко, сломанно, с ощущением мерзкой гадливости к самому себе...

...Куда бы я отсюда ни бежал, сказал он себе тогда, понимая, что в который уже раз оправдывает себя, вымаливая у себя же самого индульгенцию, меня всюду будут воспринимать как оберштурмбанфюрера СС, врага, нациста, губителя демократии... Я лишен права сказать, кто я на самом деле, потому что враги начнут кампанию: «гестапо и НКВД умеют сотрудничать даже в разведке, совместимость»... Вальтер Кривицкий ушел чистым... Я *служил* в РСХА, я замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею эсэсовскую наколку на руке...

Ну ты, сказал он себе, вернувшись в Берлин,

сейчас надо сделать все, чтобы вернуться — нелегально — домой. И уничтожить там тех, кто предал прошлое. Это высшая форма преступления — предательство прошлого. Такое не прощают. За это казнят... Ты способен на это? Или ты трус, спрашивал он себя требовательно, с бессильной яростью.

Эта мысль постоянно ворочалась в нем до того дня, пока он не прочитал фрагменты плана «Барбаросса», а затем в марте сорок первого получил шифровку из Центра, поначалу испугавшую его, ибо никто не знал его нового адреса: «Ситуация в Югославии складывается критическая, враги народа, провоцировавшие дома репрессии, ликвидированы, просим включиться в активную работу».

Исаев испытал тогда счастливое облегчение, уснул без снотворного, однако наутро проснулся все с той же мыслью: «Значит, ты все простил? Ты все забыл, как только тебя поманили пальцем?»

Но тогда он уже вновь обрел право дискутировать с самим собою, и поэтому он круто возразил себе: «Меня поманили не пальцем, я не проститутка, мне открыто сообщили, что были *репрессии* и что с приходом нового наркома Берия прошлое кануло в Лету: Марат — Дантон — Робеспьер;

революция не бывает бескровной...»

— Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер Макгрегор...

Тот кивнул, закурил, пододвинул Исаеву «Винстон», записал ответ в лист протокола и перешел ко второму вопросу:

— Фамилии, имена, годы и места рождения ваших родителей?

— И на этот вопрос я отвечать не стану.

— Являетесь ли вы членом какого-либо профсоюза, партии, пацифистской организации?

— Прочерк, пожалуйста...

Макгрегор улыбнулся:

— Насколько мне известно, понятие «прочерк» присуще лишь тоталитарным государствам. Мы придерживаемся традиций. Я должен записать ваш ответ.

— Я не отвечу и на этот вопрос.

— Имя и девичья фамилия жены?

— Я не отвечаю.

— У вас есть дети?

— Не отвечаю...

Макгрегор перевернул страницу, снова закурил, заметив:

— С наиболее скучными вопросами, мы покончили, теперь перейдем к делу.

Он раскрыл вторую папку, достал оттуда фотографию Штирлица, сделанную кем-то в Швейцарии возле пансионата «Вирджиния», когда он искал несчастного профессора Плейшнера:

— Знаете этого человека?

— Чем-то похож на меня...

— Но это не вы?

— Нет, это не я.

Макгрегор пододвинул папку:

— Поглядите: там есть ваши фото в форме, вместе с Шелленбергом в Лиссабоне, данные из вашего личного дела, характеристики...

Все верно: Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС, истинный ариец, отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера, предан идеалам НСДАП, характер нордический, стойкий, спортсмен, порочащих связей с врагами рейха не имел, родственников за границей нет, фамилию не менял, никто из близких не был арестован гестапо...

— Этого человека знаете? — усмехнулся Макгрегор. — Или нужны очные ставки?

— Я бы не отказался от очных ставок.

— Вы их получите. Но лишь после того, как мы кончим наше собеседование.

— Мистер Макгрегор, собеседования не по-

лучится. Я не стану отвечать ни на один ваш вопрос.

Тот покачал головой:

— На один ответите: как вы себя чувствуете после столь отвратительного путешествия? Пришли в себя?

— Да, в какой-то мере.

— Врач не нужен?

— Нет, благодарю.

— Не сочтите за труд закатать рукав рубашки, я хочу сфотографировать номер вашей эсэсовской татуировки.

Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав, дал сфотографировать татуировку — невыводимо-въедливую: тысячелетний рейх не допускал и мысли о возможном крахе, все делалось на века, прочно.

...А потом в эту *комнату* с металлическими тяжелыми ставнями ввели штурмбанфюрера СС Риббе из гестапо — сильно похудел, костюм болтается, глаза пустые, недвижные, руки бессильно висят вдоль тела.

— Вы знаете этого человека? — обратился к нему Макгрегор.

— Да, он мне прекрасно известен, — монотонно-заученно отрапортовал Риббе. — Это

штандартенфюрер СС Штирлиц из политической разведки, доверенное лицо бригадефюрера Шелленберга.

— Вам приходилось работать со Штирлицем?

— Нет.

— Благодарю вас, — с традиционным оксфордским придыханием учтиво заметил Макгрегор, — можете возвращаться к себе.

Следующим был Воленька Пимезов, бывший помощник Гиацинтова, начальника владивостокской контрразведки в двадцать втором — последней обители белой России.

— Знаете этого человека?

Воленька был в отличие от Риббе совершенным живчиком с сияющими глазами, похудевший, но не изможденный, на Исаева смотрел с восторженным интересом:

— Господи! Максим Максимович! Сколько лет, сколько зим! И вы здесь!

— Мистер Пимезов, — неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то, прервал его Макгрегор, — пожалуйста, без эмоций! Отвечайте только на мои вопросы! Вам знаком этот человек?

— Конечно! Это Исаев, Максим Максимович...

Макгрегор обратился к Исаеву:

— Вы знаете этого человека?

— Нет.

— Мистер Пимезов, — меланхолично продолжал Макгрегор, — когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к опознанию?

— Максим Максимович Исаев был ответственным секретарем газеты господина Ванюшина у нас во Владивостоке начиная с двадцать первого...

Исаев почувствовал, как сжало сердце, вспомнил громадину Ванюшина, его глаза, полные слез, когда он в номере хабаровского отеля, развалившись на шкуре белого медведя — главном украшении трехкомнатного люкса, — дал ему заметочку из газеты: «Вы прочтите, прочтите повнимательней, Максим Максимович! Или хотите — я? Вслух? С выражением? А? Извольте: «Вчера у мирового судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты по обвинению в нарушении общественной тишины... Корреспондент этот, Фредерик Раннет, сказал своим гостям-иностранцам в ресторане, что в России можно любому и всякому дать по физиономии и ограничиться за это штрафом... Заключив пари, Раннет подошел к лакею Максимову и дал ему оплеуху. Суд приго-

ворил Раннета к семи дням ареста...» А?! Каково?! И заголовочек: «В России все можно!». У нас все можно, воистину! Вот мне давеча наш премьер Спиридон Дионисьевич Меркулов излагал свое кредо: «В репрессалиях супротив политических противников дозировка не потребна, друг мой! Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту — тогда пущай ее хоть реки льются... Это вроде избавления от болезни, это как высокое давление спустить, людскую страсть утихомирить! Главное — врагов *назват*ь, от них беда, не от самих же себя?!»

— Что вы можете сказать о деятельности Исаева? — Макгрегор смотрел на Пимезова с легкой долей презрения.

— Блестящий журналист, «перо номер два», его обожали в Приморье...

— Что имеете добавить к этим показаниям?

— То, что в течение последних семи месяцев, перед тем как банды Красной Армии вошли во Владивосток, мы тщательно следили за Максим Максимычем, подозревая его, и не без основания, в том, что он является лазутчиком красных.

Макгрегор обернулся к Исаеву:

— Отвергаете?

Тот кивнул.

Макгрегор отпустил Пимезова (английский у бедолаги ужасающий, путает времена, слова произносит на русский лад), протянул Исаеву папочку розового цвета:

— Ознакомьтесь...

Исаев открыл папку и впервые *дрогнул*: прямо в его лицо смотрели горестные глаза Сашеньки Гаврилиной.

Он долго не мог оторваться от ее фотографии (отметил машинально, что это не подлинник, а копия), потом аккуратно прикрыл папку:

— Мистер Макгрегор, я бы хотел понять, чего вы от меня хотите? Возможно, это поможет нашему диалогу...

Тот согласно кивнул:

— Я готов ответить. Меня и мою службу интересует, на кого вы работали по-настоящему: на красных, Шелленберга или на представителя американской разведки мистера Пола Роумэна, вместе с которым, начиная с сорок шестого года, развили бурную активность в Латинской Америке по розыску шефа гестапо Мюллера?

— Если я отвечу, что по-настоящему работал лишь на красных, это может оказаться некоторым конфузом для британской службы: допрашивать представителя русского союзника без сотрудника

посольства...

— Вы совершенно правы, мистер Штирлиц-Исаев... Но ведь вы не сделали подобного рода заявления... Поэтому я допрашиваю вас как эсэсовского преступника...

— Значит, если я сделаю такое заявление, представитель русского посольства будет приглашен сюда?

Макгрегор пожал плечами:

— Кто же приглашает дипломатов на конспиративную квартиру секретной службы? Мы подыщем для этого другое место... Итак, я могу записать: вы признаете, что работали на русских?

— Да.

— Назовите имена тех, кто может поручиться за вас в Москве.

Исаев ощутил физически, как англичанин его ударил: кого он может назвать? Кого? Постышева? Блюхера? Каменева? Кедрова? Уншлихта? Артузова? Берзина? Кого?!

— Я считаю это нецелесообразным.

— Могу поинтересоваться: отчего?

— На этот вопрос отвечать не стану.

— Как нам сообщить русским ваше имя?

— А вы дайте им те имена, которые называли господа, вызванные вами для опознания...

— Хорошо, — и Макгрегор протянул Штирлицу свое вечное перо. — Пожалуйста, убедитесь в правильности ваших ответов и подпишите каждый.

Убедившись в том, что его ответы записаны верно — полное отрицание всего и вся, — Максим Максимович подписал каждый свой ответ.

Макгрегор спрятал бумагу в портфель, откланялся и, уже открыв дверь комнаты-камеры, задумчиво спросил:

— А если бы вам не постелили одеяло с клеймом «Куйбышева», вы бы заговорили по-русски?

И, не дождавшись ответа, вышел.

3

Ночью Исаев уснуть не мог, заново анализировал всю беседу с этим придыхающим Макгрегором, то и дело возвращался к странному поведению Риббе — живой мертвец, что с ним сделали; потом от Пимезова перебросился памятью к последнему дню во Владивостоке, когда Ванюшин привел его к своему лакею Миньке, тот еще в доме ванюшинских родителей, при рабстве, был «мальчиком», и услыхал слова его квартиранта, приват-доцента Шамеса, словно это не четверть века назад было, а только что, в этой странной деревянной комнате... Маленький, с пушкинскими баками Шамес тогда жарко вещал ему, Исаеву, и Ванюшину: «Если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут такими же, как у живого. Они исчезнут лишь на третий день, когда — по нашему христианскому присказу — душа уйдет из тела... Да, да, я верующий, выкрест, хоть и говорят, мол, жид крещеный, что конь леченый... Поймите, и первый, и второй день покойник фиксирует все

происходящее вокруг него! Я еще не ответил себе: *организуется* ли это слышимое в ужас там, в таинственном, распадающемся мозгу покойника? Ведь на самом деле выходит не душа, а энергия, мощь разума человеческого... Энергия не исчезает — в этом я согласен с марксистами. Но если она не исчезает, значит, разум бесконечен, а человек духовно бессмертен? Покойник и после смерти оставляет *здесь* свои электромагнитные волны, и, если я проживу еще несколько лет и Россия не сожрет самое себя, я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, плач Ярославны и невысказанные, то есть истинные, мысли Макиавелли... Не смейтесь! (Я действительно смеялся, вспомнил Исаев, я хохотал тогда.) Не зря говорят: «идеи носятся в воздухе!» Стоит только настроиться на них, и тогда высший разум мира войдет в вас, и вы станете новым пророком, и вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала... Что вы смеетесь?! (Я смеялся; Ванюшин слушал завороженно, с неизбывной тоской.) Вы просто не задумывались над тем, отчего все великие люди либо маленькие ростом, вроде Мольера, Наполеона, Пушкина, Лермонтова, Ленина, либо великаны, как Петр, Кромвель, Линкольн! А в чем дело? В том, что они вне среднего уровня челове-

чества, поэтому им сподручнее настраиваться и принимать электромагнитные волны ушедших гениев...» Ванюшин тогда вздохнул: «Свернут вам голову, Рувим, либо наши изуверы, либо красные...» Шамес зашелся смехом: «Думаете, я боюсь? Нет, вообще-то я, конечно, трус, но за жизнь как таковую страха не испытываю. Почему? А потому, что я, как и вы, есть пустота! Вы касаетесь меня пальцем, и вы ощущаете меня, но чем вы меня ощущаете и что вы ощущаете?! Тело состоит из атомов. А ведь атом — это ядро, вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные невесомые электроны. В пустоте! Следовательно, вы прикасаетесь пустотой к пустоте! В мире нет массы! Есть энергия и магнитное поле! И все! Тело — миф! Мы бестелесны. Мы из атомов и пустоты, вода — из того же, дерево, корова, Достоевский, Тинторетто, Джоконда... Мы все подданные бестелесной материи, чего же бояться?!»

...Откуда англичане могли получить фото Сашеньки, спросил себя Исаев. Этот вопрос не давал покоя, рождал какое-то напряженное чувствование, не оформившееся еще в мысль, но затаившееся во всем его существе.

Идет игра, ему это было ясно, идет по тем правилам, которые он не смог еще понять, но они,

эти правила, были изощренными, безукоризненны по форме, но при этом как-то уж слишком упрятаны.

Этот Макгрегор легко доказал мне, что он знает про Штирлица, Исаева, про Сашеньку и, наконец, про Пола Роумэна. Это очень много, это успех, я в нокауте. Но отчего он не закрепил свою позицию наступлением? Почему? Англичане — при всем их такте — жесткие политики, их национальный характер более всего проявляется в спорте: они подарили миру теннис, футбол и бокс, они умеют силово, мотающе, но тактично атаковать, чего же не атаковал Макгрегор? По-моему, его вообще не очень-то интересовали мои ответы, он добивался другого. Чего?

...Человек в полувоенной форме без погон вошел к нему с подносом, как и вечером: тарелка с овсянкой, кусок хлеба с сыром и чашка с жидким кофе. Как и вечером, он дождался, пока Исаев закончил завтрак, забрал тарелку в первую очередь, потом уже чашку и ложку.

— Когда у вас время прогулок? — спросил Исаев.

— У вас пока нет прогулок.

— Почему? Я наказан?

— Задайте вопрос тому, кто ведет ваше дело.

— А библиотека? Я могу пользоваться услугами тюремной...

— Здесь не тюрьма.

С этим человек вышел, мягко прикрыв за собою массивную, на пневматике, дверь...

...Через пять дней снова пришел Макгрегор, протянул Исаеву листок бумаги:

— Распишитесь.

Исаев прочитал текст:

> «По настоянию штандартенфюрера СС Штирлица, который утверждает свою принадлежность к русской разведке («М. М. Исаев»), означенный Штирлиц передается советским властям».

Лихая закорючка вместо подписи под текстом: «помощник начальника отдела»; дата; ни номера, ни печати.

— Согласны с такого рода решением? — спросил Макгрегор.

— Абсолютно.

— Извольте дописать: «С решением согласен». И распишитесь. Той фамилией, которую сочтете более удобной.

— Устного согласия недостаточно?

— Нет. Вы, видимо, слыхали, что множество

русских отказываются вернуться домой, справедливо полагая, что их, как всех пленных, которые заразились, — Макгрегор усмехнулся, — западным вольнодумием, отправят в Сибирь. Чтобы в будущем вы не вчинили нам иск за то, что мы отдали вас большевикам, извольте выполнить формальность.

Исаев подписал бумагу, Макгрегор кивнул ему и молча вышел.

4

Его привезли на загородный аэродром к дребезжащему полувоенному «Дугласу» с двумя рядами металлических стульев, закрытых тулупами, и с двумя кушетками в первом отсеке.

Возле двери пилотов, после молчаливого акта передачи Макгрегором таинственного пленника (по ночному городу везли с завязанными глазами; Исаеву почудилось, что дзенькал трамвай, как московская «аннушка» в те благословенные годы, когда был жив папа; странно — разве в лондонских пригородах ходят трамваи? Впрочем, почему я думаю, что это Лондон, а не Глазго или Манчестер?), капитан, назвавшийся Перфильевым, сердечно приветствовал Штирлица, и самолет с тщательно закрытыми иллюминаторами ушел в небо.

— К столу, Всеволод Владимирович, — Перфильев назвал его так, как последний раз называл Уншлихт в двадцать первом, когда встретились в Реввоенсовете республики: отправляясь во Владивосток, Владимиров, впрочем, тогда уже Исаев, был по рекомендации Дзержинского при-

нят зампредом РВС Склянским, а потом, минут на пять всего, его пригласил к себе наркомвоенмор Троцкий.

...На ящике, укрытом газетами, стояли бутылка коньяка, банки шпрот, сардин и крабов; сырокопченая колбаса, сыр, сало.

Потрясли Исаева яйца, сваренные вкрутую; за четверть века отвык; на Западе так не готовят...

Или оттого, что выпил он большой фужер коньяку (капитан Перфильев только пригубил: «Я еще должен работать во время рейса, Всеволод Владимирович, не взыщите»), то ли оттого, что стало ему сейчас сладостно-спокойно, ушли из головы все эти «никс фарштеен», страшные унижения в гальюне, странный Макгрегор, вон всякий сор из головы, он — неожиданно для себя — отключился; такого с ним никогда не было...

...Проснулся оттого, что капитан тер ему уши:

— Всеволод Владимирович! Просыпайтесь! Садимся! Москва!

Было по-прежнему темно, все иллюминаторы зашторены. Когда Перфильев открыл дверь и выбросил металлическую лестничку, Исаев увидел звезды — улетал ночью, прилетел в ночь; такой же потаенный, без огней, загородный аэродром, большой автомобиль (он сразу вспомнил

«ЗИС-101», такие были в советском посольстве на Унтер-ден-Линден, немцы очень потешались); подполковника с орденскими планками.

— Товарищ Владимиров, от имени и по поручению командования разрешите сердечно поздравить вас с возвращением на родную землю! Подполковник Петров, отдан в ваше распоряжение.

— Спасибо, товарищ Петров... Сердечно благодарю за встречу... Мою семью предупредили? Мы сейчас поедем к ним?

— Командование приняло иное решение, товарищ Владимиров: нельзя травмировать вашу супругу и сына... Они считали вас погибшим, как и мы все... Их надо готовить к встрече, за это время и вы придете в себя, поехали!

...Дачка была небольшая, уютная, две спальни, столовая и кабинет, большая веранда, на кухне — настоящая русская плита; на веранде был накрыт стол. Петров представил молоденького лейтенанта: «Коля Штыков, стенограф, пока мы будем готовить ваших к встрече — дней семь на это уйдет, — надиктуете отчет о проделанной работе, поэтапно, с самого начала, на имя секретаря ЦК товарища Кузнецова. Он теперь курирует органы, герой ленинградской блокады, вы

с ним вскорости увидитесь, он будет визировать документы на ваше звание Героя. Тогда же все приостановилось, мы получили данные, что вы погибли тридцатого апреля...»

...Исаев работал неделю с упоением; худенький Коля стонал:

— Рука отваливается, Всеволод Владимирович! Пожалейте...

— А вдруг от радости у меня сердце порвется? Тогда как? Нельзя уносить с собою то, что знаешь, Николаша, давай помассирую пальцы, я дока в массаже.

Еще неделю, постоянно, возрастающе-требовательно торопя подполковника Петрова с переездом домой, в семью, Исаев продолжал работать: вычитывал надиктованное, дополнял, многое переписывал, работой увлекся, просил сделать вклейки, сам дивился своей памяти, а главное, тому, что было с ним все эти четверть века; наконец, удовлетворенный, подписал *труд* и пододвинул его Коле.

Подполковник Петров продиктовал текст, который надо было от руки написать секретарю ЦК Кузнецову: мол, прошу ознакомиться с итогом моей работы, возможно, потребуются дополнения, я готов.

Потом улыбнулся своей открытой, доброжелательной улыбкой:

— И у меня для вас сюрприз, Всеволод Владимирович! Завтра едем домой. Сегодня день отдыха, прощальный пир с тостами.

Весь день играли в шахматы, катались в лодке по небольшому озеру, Исаев становился все более бледным, и руки делались ледяными; выехали в одиннадцать.

Коля шепнул:

— Войдем с боем курантов, праздник так праздник!

«ЗИС» несся по безлюдной Москве, которую Исаев не видел двадцать семь лет: совершенно другой город, много широких улиц, но в новых домах чувствуется до боли знакомая фундаментальность, отличавшая арийский вкус; откуда нашим архитекторам знать берлинские ансамбли, созданные при Гитлере?!

«ЗИС» летел на красный свет; немногочисленные пешеходы разбегались в стороны, а шофер то ли по рассеянности, то ли чтобы посмешить пассажиров, то ли оттого, что заметил яму, крутанул руль в лужу и окатил старика с собачкой водой, а подполковник с Колей захохотали, и это заставило Исаева заново посмотреть на их лица.

— Ничего, обсохнет, — сказал Коля каким-то новым голосом, и в это время «ЗИС» въехал в приоткрытые ворота.

Машину окружили военные, распахнули двери, первым вылез подполковник Петров, за ним Коля. Подполковник, направляясь к темному зданию, коротко бросил, кивнув на Исаева:

— Оформляйте арестованного.

...А в это время член Политбюро и секретарь ЦК ВКП (б) Георгий Максимилианович Маленков ехал в правительственном спецпоезде в Узбекистан и, прижавшись лбом к стеклу, в который раз уже обдумывал, чем он мог вызвать столь яростный гнев Сталина, отправившего его в азиатскую ссылку.

Он перебирал в уме все возможные варианты, но так и не мог ответить себе, что же с ним произошло на самом деле...

Да, после поездки по Калининской и Новгородской областям он вернулся совершенно раздавленный: страна нищала, голод, пустые деревни, на полях всего несколько баб, копают картошку еле-еле, сил нет, одеты в рванье, какие там «Кубанские казаки»!

Да, чуток поспорил со Ждановым: в нынешнее время рискованно отъединяться от европейской

науки, она необходима нам для реального прорыва к новому уровню технологии, только она позволит довести до конца *проект* в те сроки, которые назвал Иосиф Виссарионович. Пропаганда пропагандой, а промышленность промышленностью, тут заклинания не помогут, нужны реальные мощности, а не те, о которых печатают в победных газетных реляциях, работаем на станках прошлого века... Спор о немецких трофеях, которые не доставили на указанные заводы?

Но ведь сам Иосиф Виссарионович последнее время постоянно повторяет: «Не бойтесь спорить, не старайтесь заранее все согласовать по кабинетам; в свое время мы сутками спорили с Каменевым, а позже с Бухариным, ничего не случалось, договаривались добром или на время расходились, искали компромисс...»

Маленков повторил про себя «искали компромисс», усмехнулся; знаем, чем кончился «компромисс»... Неужели и со мною он так же *разойдется*? А что ему? И не таких ставил к стенке...

Если не поможет Лаврентий — я кончен; обидно и горько: в несчастной России всегда уповали на ходатая; холопы; захочет ли Берия спасти его? Ему не поздно переориентироваться на Жданова... Тот оттер всех, блок с ним выгоден каждому...

Я еду в ссылку, повторил себе Маленков, я *брошен* в Ташкент, на *укрепление*... Ежова тоже бросили на укрепление водного хозяйства России...

За что?! Кто еще предан ему так, как я?!

И Маленков, прижавшись еще крепче к стеклу, спросил себя: «предан»? Или «был предан»?

Зачем он играет нами, как пешками? Не офицерами или турами, а именно пешками?!

Что с ним? Ему еще нет семидесяти, откуда такие маразматические явления — нельзя предугадать утром, что случится вечером... Он и раньше был готов на все, что же меня ждет сейчас?!

А может быть, правду шептали о том, что после пятидесяти лет он совершенно изменился? Шептали, что у него открылась тяжелая форма паранойи? Он же подозрителен, как жена-тиран...

С тридцать четвертого по тридцать восьмой Сталин пережил климакс, это говорили братья Коганы, консультанты Хозяина, — все в порядке вещей, ломка организма...

Наломал... Все наломали, поправил себя Маленков, ты себя не выводи за скобки, с ним пришел — с ним и уйдешь, если он тебя не шлепнет...

Неужели сейчас начался маразм? Обычный, всем знакомый старческий маразм?

Верочка Давыдова, первый голос Большого театра, рыдала в кабинете: «Георгий Максимилианович, я больше не могу, спасите меня! Он говорит такие слова, он такое делает...»

...Спецпоезд несся сквозь тьму, кромешную и непроглядную. Россия лежала во мраке — без огонька, истерзанная, в трагическом и безразличном запустении, а один из тех, кто должен был *отвечать* за нее, думал лишь о той шахматной доске, на которой офицеров и ферзей не сбрасывали — расстреливали: что ему до России?! Своя рубашка-то ближе к телу!

5

Над дверью камеры горела лампа; от нее, казалось, никуда не спрячешься, как и от тех размеренных, нарочито громких шагов надзирателей, которые менялись, неестественно громко выкрикивая: «Пост по охране врагов народа сдан!» Вторивший ему отклик был столь же громким, торжествующим: «Пост по охране врагов народа принят!»

Вот я и приобщился, сказал себе Исаев. Только теперь я до конца понял, что два эти слова звучат *дома* как высшая награда за верность революции; все стало на свои места; наконец-то:..

Камера была маленькая; крошечное оконце забрано не только решетками, но и «намордником» снаружи.

Но почему этот стенограф Николаша, подумал вдруг Максим Максимович, весело глядя мне в глаза, обещал войти в мой дом с боем курантов, чтобы праздник был настоящим? Ведь он знал, *что* меня ждет; почему он глумился над моей надеждой? А что ему было делать, возразил себе Исаев. Смотреть на меня как на врага? Ему же

сказали: «Это враг народа». А он поверил? Почему нет? Поэтому и вел себя по-дружески, иначе я бы не стал работать с таким вдохновением, как работал на даче, вспоминая *структуру* моего прошлого, прикидывая вариантность настоящего и вероятия будущего.

Да, но какие, собственно, у него были основания смотреть на меня как на врага?! Ты пришел из-за кордона, ответил себе Исаев, надо еще разобраться, ты это или нет? Но ведь дома Сашенька! И мой Санька должен быть дома! Должен! Это так просто — опознать меня! Нет, все страшнее, сказал он себе. Я — ладно, «фигура умолчания», они меня впервые видят... А вот какие были основания у таких же пареньков смотреть на Каменева и Бухарина как на шпионов и врагов? Ведь им, тем *паренькам*, было лет по двадцать пять, они не могли не помнить, как десять лет назад шли по Красной площади, приветствуя *вождей*: Бухарина, Троцкого, Каменева, Сталина, Зиновьева... Нет, там работали не *пареньки*, возразил он себе, это невероятно, чтобы с Зиновьевым имел дело стенограф Николаша, не ложится в логическую схему; с теми лидерами работал высший эшелон. Нет, подумал он, старая гвардия не могла *работать* против Каменева или

Бухарина, Постышева или Блюхера. Все сходится: Бухарина и Рыкова судили, когда исчезли все те, кто начинал в ЧК с Дзержинским. Нет, неверно, одернул он себя; когда прошел первый процесс тридцать пятого года, когда Каменев и Зиновьев приняли на себя *моральную* ответственность за гибель Кирова и были осуждены на тюремное заключение, ветераны еще были на своих местах. Нет, не были, устало возразил он себе: Ягода пришел в ЧК лишь в двадцатом управляющим делами, чисто хозяйственная работа. Кто ж его *внедрил* к Дзержинскому? Во время гражданской он был на Восточном и Южном фронтах, на Юге сидел Сталин... Не может быть, что генсек уже тогда начал расставлять на ключевые посты *своих*... Почему? Вспомни, как планировал свой тридцать четвертый год Гитлер? Он его *придумал* в двадцать пятом, ждал мести девять лет, все эти годы обнимался с теми, кого внутренне уже приговорил к смерти, — Рэмом и Штрассером...

...Исаев заложил руки за голову, потянулся; презирая себя, начал хрустяще ломать суставы пальцев, ощутил мучительную потребность в крепкой сигарете, не в тех папиросах «Герцеговина Флор», что его угощали на *даче*, а в хорошем «Кэмеле», который так любил Шелленберг...

Началась новая полоса в жизни, и в ней, в этой новой жизни, я обязан сориентироваться сейчас, загодя, пока не пошли допросы и все такое прочее, а без сигареты трудно думать — привычка. Он вспомнил пословицу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»... Ведь было сообщено еще в двадцать восьмом, что Михаил Сергеевич Кедров, входивший в первую коллегию ЧК, был отчего-то переведен в члены «Спортинтерна», а ведь при Дзержинском он был председателем Особого отдела. Кто ж его вывел из ГПУ за полгода перед ударом по Бухарину? Почему я раньше не задумывался над этим? Потому что на расстоянии родина видится особенно прекрасной, и всякий, кто говорит о ней плохо, — враг, услышал он свой голос, прекрасно понимая, что это ложь, отговорка, оправдание самому себе...

Менжинский умер пятидесятишестилетним, за год до смерти был совершенно здоров, умер, как по заказу, — накануне подготовки процессов... Контрразведчика Бокия перебросили на тюремное ведомство тоже в конце двадцатых, освободив его место для людей новой волны... А другой заместитель Феликса Эдмундовича — Уншлихт? Его перевели в армию, поставили на авиацию... Почему? А Трифонов? Ксенофонтов?

Почему их разбросали по другим ведомствам?

Как это страшно, что правдиво говорить с самим собою я начал только в тюремной камере, подумал Исаев. А ведь все то, о чем я сейчас думаю, было мне известно давным-давно, но я сознательно отталкивал факты, запрещал себе ставить вопросы, а пуще того — думать об ответах. Я знал, что эти вопросы требуют ответа, знал! Ну и как объяснить то, что ты добровольно делал из себя идиота?! Запрет на мысль — идиотизм, форма шизофрении. Неужели идее нужны идиоты?

Кто и как мог принудить Каменева и Зиновьева взять на себя *моральную* ответственность за убийство Кирова? Кто и как? Ни Менжинского, ни Кедрова, ни Бокия с Уншлихтом не было уже на ключевых постах; людей Дзержинского *загодя* раскидали. Значит, с Каменевым и Зиновьевым в тридцать четвертом работали новые кадры. Кто они? Каким образом они смогли получить у них признания? Почему Каменев подтвердил эти признания на открытом процессе, когда мог все отрицать? А мог ли? Или во всех нас заложен синдром *перепада*? В январе девятьсот пятого люди шли за помощью к царю, несли хоругви, его лики, а назавтра после расстрела начали жечь его портреты; то же в феврале семнадцатого... Верим,

верим, верим, а потом, внезапно изверившись, начинаем жечь и громить... За что боролись — и в пятом, и в семнадцатом? В конечном счете за жизнь, за что же еще?! Неужели Каменев с Зиновьевым в тридцать пятом *боролись* лишь за свою жизнь, отказавшись от Идеи?!

Ты строишь умозаключения, сказал себе Исаев. Ты не сможешь ответить ни на один из вопросов, которые ставишь; только завтрашний день, когда ты встретишься лицом к лицу с теми, кто поведет допрос, позволит тебе нащупать *нечто*...

И тут он услышал бой кремлевских курантов — близкий, явственный; как он ждал этого перезвона курантов там, в рейхе, оттачивая карандаши, чтобы настроиться на волну радиостанции «Коминтерн», когда на связь выходил Центр! Как сладостно замирало сердце и наворачивались слезы на глаза... Но ведь тогда ты не вспоминал ни Каменева, ни Бухарина, ни Тухачевского, хотя знал, *документально* знал, что они никогда не были *шпионами*! Ты был тогда предателем, Исаев! Ты предавал свою память, а значит, память идеи и народа, придумывая успокоительную ложь: мол, главное — это борьба против немецкого национального социализма. Сначала свалить Гитлера, потом разберемся с

тем, что произошло дома...

...Назавтра на допрос не вызвали; днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер, — полное молчание, любой шепот фиксируется.

И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни, совсем рядом, сотня метров, полтысячи — все равно рядом.

А ведь я у себя *дома*, подумал он. Я на Лубянке, где ж еще?! Я там, откуда уехал к Блюхеру в Читу в двадцать первом, я там, где последний раз был у Дзержинского... Что же он сказал тогда? Он как-то очень горько говорил, что память отцов хранят дети, что к обелискам он относился отрицательно, да и Древний Рим доказал всю их относительность... К тому же людям вашей профессии, усмехнулся он тогда, обелисков не ставят, маршалы без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты...

...Только тогда куранты другое вызванивали — фрагмент из нашего гимна, из «Интернационала», а ни гимна этого нет, ни Коминтерна; распустили; ты и это съел, запретив себе думать, отчего в сорок третьем, когда коммунисты Тито

и Прухняк, расстрелянный друг Дзержинского, генсек польской компартии, Дюкло и Тольятти особенно активно сражались в подполье против Гитлера?! Хотя польскую компартию вообще распустили еще в тридцать восьмом — здесь, в Москве, именно на Коминтерне, как шпионско-фашистскую, а весь ЦК расстреляли. Гейдрих ликующе объявил об этом руководству: «Они сожрут друг друга!» И я поверил в то, что Прухняк — агент гестапо? Почему Коминтерн, Третий Интернационал, провозглашенный Лениным и Зиновьевым, коварно распустили в Уфе в сорок третьем?! Не в июле сорок первого, когда надо было потрафить союзникам, ненавидевшим эту организацию, а уже после перелома в войне? Почему? Чтобы работать в Восточной Европе иными методами? Не ленинскими? Державными? Но ведь это было уже в прошлом веке, а к чему привело?

...Как же ты виртуозно уходишь от ответов, товарищ Исаев, он же Владимиров, он же Штирлиц, он же Бользен, он же доктор Брунн, он же Юстас, сказал он себе, но снова что-то мерзкое, плотски-защитное родилось в нем, позволив не отвечать на эти вопросы, рвущие сердце, а переключиться на правку вопроса: «Ты расте-

рял самого себя, Максим, ты путаешься в себе, ты никогда не был «товарищем Исаевым», ты был «товарищем Владимировым», Исаев сопрягался с «господином», «милостивым государем» — твой первый псевдоним в разведке Максим Максимович Исаев, и свое конспиративное имя и отчество ты взял в честь Максима Максимовича Литвинова, папиного друга, хотя отец всегда был мартовцем, а Максим Максимович Литвинов — твердолобый большевик, которого сняли с поста народного комиссара иностранных дел, чтобы он не нервировал Гитлера и Риббентропа: «паршивый еврей»...»

...Когда спустя долгие четыре недели и три дня его повели на допрос и два надзирателя в *погонах* (он не обратил внимания на погоны, когда его *обрабатывали* перед тем, как закупорить в камеру, слишком силен был шок) постоянно ударяли ключами о бляхи своих поясов, словно давая кому-то таинственные знаки, Исаев собрался, напряг мышцы спины и спокойно и убежденно *солгал* себе: «Сейчас все кончится, мы спокойно разберемся во всем, что товарищам могло показаться подозрительным, и подведем черту под этим бредом». Услыхав в себе эти успокаивающие, какие-то даже заискивающие слова, он

брезгливо подумал: «Дерьмо! Половая тряпка! Что может показаться подозрительным в твоей жизни?! Ты идешь на бой, а ни на какое не «выяснение»! Все уж выяснено... Ты трус и запрещаешь себе, как всякий трус или неизлечимо больной человек, думать о диагнозе».

...Следователем оказался паренек, чем-то похожий на стенографа Колю: назвал себя Сергеем Сергеевичем, предложил садиться, медленно, как старательный ученик, развернул фиолетовые страницы бланка допроса — из одной сразу стало четыре — и начал задавать такие же вопросы, как англичанин Макгрегор: фамилия, имя, отчество, время и место рождения. Исаев отвечал четко, спокойно, цепко изучая паренька, который не поднимал на него глаз, старательно записывал ответы, однако — Исаев ощутил это — крепко волновался, потому что сжимал школьную деревянную ручку с новым пером марки «86» значительно сильнее, чем это надо было, и поэтому фаланга указательного пальца сделалась хрустко-белой, словно в первые секунды после тяжелого перелома.

После какой-то чепухи, тщательно, однако, фиксировавшейся (на чем добирались из Москвы до Читы; какое ведомство покупало билет, сколь-

ко денег получили на расходы, в какой валюте), он неожиданно поинтересовался:

— Какого числа Блюхер отправил вас в Хабаровск на связь к Постышеву?

— Это же было четверть века тому назад, точную дату я назвать не могу.

— А приблизительно?

— Приблизительно осенью двадцать второго...

— Осенью двадцать второго, — чеканно, поучающе, назидательно повторил Сергей Сергеевич и вдруг шлепнул ладонью по столу: — Ленин тогда провозгласил: «Владивосток далеко, а город это наш».

— Значит, это была осень двадцать первого.

— Перед отправкой в Хабаровск к белым Блюхер и Постышев инструктировали вас?

— Инструктировал меня Феликс Эдмундович...

Сергей Сергеевич закурил «беломорину», пустил дымок к потолку, заметил взгляд Исаева, которым тот провожал эту пепельно-лиловую струйку табачного дыма, и, глядя куда-то в надбровье *подследственного*, уточнил:

— Вы хотите сказать, что к Блюхеру и Постышеву вас отправлял лично Дзержинский?

— Да.

— Что он говорил вам?

— Обрисовал ситуацию во Владивостоке, попросил держать связь с ним через Постышева, тот, видимо, отправлял мои донесения Блюхеру, а от него они шли в Москву...

— Дзержинскому?

— Этого я не знаю.

— А в Реввоенсовет Блюхер не мог отправлять ваши донесения?

— Думаю, что в Реввоенсовет их отправлял Феликс Эдмундович...

— Троцкому? — спросил Сергей Сергеевич и еще крепче сжал ручку своими тонкими пальцами.

— Скорее всего Склянскому, заместителю председателя реввоенсовета страны Троцкого...

— Но вы допускаете мысль, что Дзержинский отправлял ваши донесения Троцкому?

— Вполне, — ответил Исаев.

Сергей Сергеевич как-то судорожно вздохнул, отложил ручку трясущимися пальцами и осведомился:

— Курите?

— Да.

Он достал папироску и протянул ее Исаеву.

— Пожалуйста.

— Спасибо.

— Продолжим работу, — сказал Сергей Сергее-

вич и снова вцепился в ручку. — Считаете ли вы возможным, что и Троцкий ставил перед вами оперативные задания, особенно накануне волочаевских событий?

— Считаю такое возможным, ведь в то время Троцкий возглавлял Красную Армию...

— Вы настаиваете на этом утверждении? — безучастно поинтересовался Сергей Сергеевич.

Исаев не понял:

— На каком именно?

Сергей Сергеевич зачитал ему текст:

— «Троцкий возглавлял Красную Армию»... Я правильно записал ответ? Искажений нет? Вы возражайте, если не согласны с моей записью... Вы правьте меня, это ваше конституционное право...

— Записано правильно.

— Скажите, а в тех инструкциях, которые вы получали из Центра, не было ли каких-то настораживающих вас моментов?

— То есть? — Исаев, внимательно следивший за каждой интонацией следователя, за каждым мускулом его плоского, совершенно бесстрастного лица, не понял смысла вопроса: как можно было сомневаться в указаниях Дзержинского?

— Фамилия Янсон вам говорит что-нибудь?

— Какого Янсона вы имеете в виду? Их было несколько: Николай, Яков...

— Я имею в виду того, который вместе с Блюхером вел переговоры с японцами в Дайрене, — уточнил Сергей Сергеевич.

— Лично с ним я не встречался, но фамилия эта мне известна.

— Я хочу познакомить вас с его показаниями, данными здесь, на следствии: «Лишь значительно позже, в конце тридцать третьего года, когда я активно включился в работу запасного троцкистского центра, Зиновьев сказал мне, что Троцкий переписал тезисы наркоминдела Чичерина, исправив их в том смысле, как это было угодно японским милитаристам. Тогда, в Дайрене, я отчетливо понимал, что наша позиция носит несколько странный, излишне бескомпромиссный характер, однако Блюхер держался этой линии неотступно. Зиновьев, когда мы встретились на даче в Ильинском летом тридцать третьего, совершенно определенно заявил, что Блюхер проводил политику Троцкого, чтобы спровоцировать выступление японцев и затем, после нашего неминуемого отступления, отдать им те территории, на которые они претендовали, в обмен на унизительный мирный договор». Что

вы думаете по этому поводу?

— Я хочу ознакомиться с показаниями Янсона...

— Вы что, мне не верите? — Сергей Сергеевич обидчиво удивился. — В таком случае можете заявить отвод...

— Я не сказал, что я вам не верю. Я прошу разрешения ознакомиться с показаниями Янсона...

— Я вас с ними ознакомил.

— Это вздор. В Дайрене была занята правильная позиция. Советская делегация вела переговоры мастерски и мужественно — почитайте белогвардейскую прессу той поры, японские газеты...

— Итак, я формулирую ваш ответ: «Показания Янсона являются клеветническими»... Так?

— Что значит «я формулирую»? — Исаев не понял.

— Я формулирую ваш ответ для записи в протокол допроса. В протокол нелепо вводить слова типа «вздор», нас с вами не поймут... Вопросы и ответы должны быть конкретными, а не эмоциональными.

— Нет уж, давайте-ка я буду формулировать ответы сам, Сергей Сергеевич...

— У вас потом будет право прочитать документ и внести собственноручные изменения.

— Почему «потом»? Если право есть, оно должно существовать постоянно, а не «потом».

— Хотите писать ответы собственноручно?

— Да, предпочел бы.

— У вас есть какие-то претензии к методу и форме ведения допроса?

И Максим Максимович после паузы ответил:

— Нет.

Следователь быстро поднялся из-за стола, подошел к Исаеву, протянул ему свою ученическую ручку и, словно фокусник, растопырив пятерню, резко развернул бланк протокола допроса так, чтобы можно было писать подследственному:

— Пожалуйста, внесите в протокол этот ваш ответ собственноручно.

Русский Макгрегор, подумал Исаев, разбирая ученический почерк следователя, — парень продолжал писать по-школьному, с *нажимом*, буквочка от буквочки, а три ошибки все равно засадил, не знает, где и как ставить мягкий знак.

— У вас тут ошибки, — заметил Исаев. — Мне исправить или вы сами?

Сергей Сергеевич покраснел — по-девичьи, внезапно; потом, однако, лицо его сделалось пепельным, синюшно-бледным, он вернулся на свое место, медленно размял папиросу, закурил

и, уткнувшись в протокол, начал изучать его: слово за словом, букву за буквой; ошибки свои не нашел или же намеренно не стал исправлять их.

Закончив чтение первого листа бланка допроса, он проверил, заперты ли дверцы стола, и сказал:

— С места не подниматься, к окну не подходить — все равно первый этаж, я скоро вернусь, продолжим работу.

Он вернулся через сорок два часа, когда Исаев свалился со стула.

— Простите, пожалуйста, — испуганно говорил Сергей Сергеевич, усаживая Исаева, — у меня с отцом случилась беда, увезли в больницу, я так растерялся, что никого здесь не успел предупредить. Извините меня, такая незадача, — он подбежал к двери, распахнул ее и крикнул в пустой коридор: — Юра, позвони, чтоб срочно принесли две чашки кофе и бутерброды!

— Разрешите мне вернуться в камеру, — попросил Исаев. — Я не в состоянии отвечать вам...

— А вы думаете, я прилег хоть на минуту? — следователь ответил устало, с каким-то безразличием в голосе. — У отца инфаркт, я все это время провел в приемном покое, тоже еле на ногах стою... У меня всего несколько вопросов, вы

уж поднатужьтесь...

— Ну давайте тогда скорее...

— Всеволод Владимирович, может, я касаюсь самого больного, — следователь сейчас был мягок и чуточку растерян, конфузился даже, бедный мальчик, — скажите, кем по партийной принадлежности был ваш отец?

— Это же все есть в моем личном деле...

— Оно погибло, вот в чем вся беда, това... Всеволод Владимирович... Сгорело в сорок первом, когда наши архивы вывозили в Куйбышев... Поймите меня правильно, если б мы имели ваше личное дело, неужели вы б здесь сейчас сидели?

А может, действительно он говорит правду, подумал Исаев, ощутив в себе рождение затаенного тепла надежды. Тогда понятно все происходящее, доверяй, но проверяй, так вроде бы говорили...

— Мой отец был меньшевиком...

— А я не верил в это, — вздохнул Сергей Сергеевич и как-то даже обмяк. — В голове такое не укладывалось...

— Почему? Другие были времена... Отец в свое время дружил с Ильичем, несмотря на идейные разногласия.

— До революции?

— Да.

— В какие годы? Где встречались?

— Особенно часто в Париже, в одиннадцатом...

— А потом?

— Последний раз в Берне, когда обсуждался вопрос о выезде в Россию, это была весна семнадцатого...

— Вы присутствовали на этой встрече? Кто там был?

— Там было много народу, встреча была у нас дома: Мартов был, Аксельрод, кажется...

— Зиновьев, — подсказал следователь.

— Конечно, был и Зиновьев... А как же иначе? Он ведь первым с Ильичем уезжал, мы — только через месяц, с Мартовым...

Вошел надзиратель с подносом, на котором стояли стаканы с кофе и четыре бутерброда с колбасой и сыром...

— Угощайтесь, Всеволод Владимирович, — предложил следователь, старательно заполняя бланк допроса.

— Давайте поскорее закончим, — попросил Исаев, — тогда я съем бутерброды и вы меня отправите в камеру, не то я прямо тут усну...

— Мы практически закончили, ешьте...

Когда Исаев подписал бланк, следователь снова вышел из кабинета, сказав, что он позвонит в

больницу узнать, как здоровье отца; вернулся на следующий день.

...В тот миг, когда голова Исаева сваливалась на грудь и он засыпал, сразу же появлялись два надзирателя:

— Спать будете в камере!

...Сергей Сергеевич появился уставший, с синяками под глазами:

— Чуть-чуть лучше старику, — сказал он. — Еще несколько вопросов, и пойдете отдыхать.

— Тварь, — тихо сказал Исаев. — Ты маленькая гестаповская тварь, вот ты кто. Отвечать на вопросы отказываюсь. Требую твоего отвода.

— Это как начальство решит, — рассеянно ответил Сергей Сергеевич. — Я доложу, конечно, а пока продолжим работу: вы жили с отцом в одной квартире? Формулирую: являясь работником ЧК, вы жили в одной квартире с меньшевиком и не отмежевались от него. Так?

А чем он виноват, этот несчастный Сергей Сергеевич, спросил себя Исаев. В стране произошло нечто такое страшное, что и представить нельзя. Передо мной не человек. У него в голове органчик, как у щедринских губернаторов, бесполезно говорить, непробиваемая стена. А я погиб. Все. Если б я один — не так страшно... Но со мною

они погубят и Сашеньку, и Саньку, теперь я в это верю.

Накануне беседы с генералиссимусом Хрущев не спал почти всю ночь.

В который раз уже он задавал себе такой простой и столь же унижавший его вопрос: говорить ли вождю — один на один — всю правду или «скользить», как это было принято сейчас в Политбюро, ЦК, Совмине, обкоме, правлении колхоза, деревенском доме и даже городской коммуналке, где, по секретным подсчетам группы киевских статистиков, на семью из пяти человек приходилось семь квадратных метров жилья; дед с бабушкой спали на кровати, муж с женой — на диване, дети — на полу.

Засуха сорок седьмого сожгла поля Украины, Поволжья, Молдавии, Центральной России.

Семенных запасов уже не было — хлеб в колхозах забирали в счет обязательных поставок подчистую, деревенские амбары кишели худющими крысами, врачи открыто говорили о возможности вспышки чумы.

Сталин тем не менее подписал указание: Украина обязана поставить не менее полумиллиона пудов зерна; Хрущев *отмолил* снижение контрольной цифры до четырехсот тысяч.

Решился на это (звонил лично Сталину по ВЧ; номер набирал негнущимся пальцем, чтобы скрыть от самого себя дрожь) после того, как получил письмо от Кириченко, секретаря Одесского обкома, который был завален письмами колхозников с просьбой о помощи и поэтому объехал область, чтобы самому убедиться — паникуют, как заведено, или же действительно кое-где есть провалы на продовольственном фронте.

> «Дорогой Никита Сергеевич, поверьте, я бы не посмел обратиться к Вам с этим письмом, — писал Кириченко, — если бы не то ужасное, воистину катастрофическое положение на селе, свидетелем которого был я лично... Я начну с крохотной сценки: женщина резала трупик своего маленького сына, умершего от голода; она резала его на аккуратные кусочки и при этом говорила без умолку: «Мы уже съели Манечку, теперь засолим Ванечку, как-нибудь продержимся...» На почве голода она сошла с ума и порубила своих детей... Во всех колхозах только одна надежда, чтобы вновь ввели карточную систему, лишь это спасет область от

повального мора...»

Хрущев представлял себе, что его ждет, зачитай он такое письмо Сталину на заседании Политбюро.

Он знал коварство этого человека, но одновременно всегда хранил в сердце негодующее почтение к нему; кто вытащил его из безвестности? Дал приобщиться к образованию? Ввел в ЦК? В Политбюро?!

Он, Сталин, с подачи Кагановича.

Хрущев впервые ужаснулся на февральском Пленуме ЦК, когда Ежов предложил немедленно расстрелять Бухарина и Рыкова, сидевших в зале заседания среди других членов ЦК; было внесено другое предложение: предать их суду военного трибунала; Сталин, пыхнув трубкой, покачал головой: «Прежде всего Закон, Конституция и право на защиту. Я предлагаю отправить их в НКВД, пусть там во всем разберутся... У нас следователи — народ объективный... Невиновного они не обидят, невиновного — освободят...»

Он говорил это спокойно, с болью, убежденно, — через две недели после того, как Юра Пятаков, честнейший большевик, любимец Серго, *умершего* за несколько дней до открытия Пленума,

признавался на очередном процессе в том, чего — Хрущев знал это тоже — не могло быть на самом деле!..

А в заключительной речи на Пленуме, когда Бухарина и Рыкова уже увезли в НКВД, где им дали *право* на доказательство своей невиновности, Сталин легко бросил: «Троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты...»

Второй раз он ужаснулся, когда Сталин проинформировал их: «Ежов — исчадие ада, убийца и садист, на нем — кровь честнейших большевиков... Он убирал конкурентов, мерзавец... Рвался к власти, мы все были обречены, вы все были обречены, все до одного, хотел сделаться русским Гитлером».

А на фронте? Хрущев мучительно вспоминал тысячи мальчишек-красноармейцев, которые — по его, Сталина, приказу — шли под пули немцев. Как он, Хрущев, бился, как молил Сталина отменить приказ о наступлении на Харьков! «А я не знал, что ты такой паникер, Хрущев, — сказал Сталин. — Сентиментальный паникер... Нам такие не нужны, нам нужны гранитные люди...»

И вот сегодня он должен заставить себя *вымолвить* просьбу о возобновлении на Украине карточной системы, чтобы уберечь от голодной

смерти сотни тысяч украинцев...

А не просить — нельзя: когда начнутся чума и голодные, кровавые бунты, отвечать придется ему, первому секретарю ЦК КПУ, кому же еще?!

...Не дослушав сообщения Хрущева, голос которого то и дело срывался на фистулу, Сталин резко оборвал его:

— Что, бухаринские штучки?! Ты кто? Мужик? Или рабочий?! Мы тебя держим в Политбюро для *процента*, заруби это на носу! Единственный рабочий — запомни! Не крестьянин, а рабочий! Знаю я мужика! Лучше тебя знаю... В ссылках у мужиков жил, не в дворянских собраниях! Работать не хотят, нахлебники, манны небесной ждут! Не дождутся. А будут саботировать поставки — попросим Абакумова навести порядок, если сам не можешь... После такого доклада, как твой, тебя надо было бы примерно наказать и вывести из ПБ, как кулацкого припевалу, только у нас беда: тут сидят одни партийные бюрократы и министры. — Сталин медленно обвел взглядом лица членов Политбюро. — Не играй на этом, Хрущев, голову сломишь... Есть мнение, товарищи, — резко заключил Сталин, — рекомендовать первым секретарем Компартии Украины Кагановича... Он в Киеве родился, ему и карты в руки...

Хрущева от занимаемой должности освободить... Перевести Председателем Украинского Совета Министров... И чтоб государственные поставки были выполнены! Если нет — пенять вам обоим придется на себя...

...В кремлевском коридоре, когда расходились члены Политбюро, Берия шепнул:

— Берегись... А то, что решился сказать правду, — молодец, в будущем тебе это вспомнят, поступил, как настоящий большевик.

...Никто другой не сказал ему ни слова — *обходили* взглядом...

Вот именно тогда-то он и признался себе: «Мы все холопы и шуты... По сенькам шапка... Хоть бы один меня вслух поддержал, хоть один бы...»

Однако, когда через месяц Сталин позвонил ему — уже в Совет Министров — и осведомился о здоровье, сказал, что понимает его трудности, «держись, Никита Сергеевич, если был резок — прости», Хрущев не смог сдержать слез, всхлипнул даже от избытка чувств.

Сталин же, положив трубку, усмехнулся, заметив при этом Берия:

— Докладывают, что он во всех речах клянет свои ошибки... Его беречь надо, такие нужны, в отличие от всех... Он хоть искренний, мужик и

есть мужик.

6

И снова четыре недели Исаева не вызывали на допрос; душили стены камеры, выкрашенные в грязно-фиолетовый цвет; днем — тусклый свет оконца, закрытого «намордником», ночью — слепящий свет лампы; двадцатиминутная прогулка, а потом — утомительная гимнастика: отжим от пола, вращение головы, приседания — до пота, пока не прошибет.

«Приказано выжить»... Эти слова Антонова-Овсеенко он теперь повторял утром и вечером.

Первые недели он порою слеп от ярости: чего они тянут?! Неужели так трудно разобраться во всем?! Но после общения с Сергеем Сергеевичем понял, что никто ни в чем не собирается разбираться, ему просто-напросто навязывают комбинацию, многократно ими апробированную.

Они, однако, не учли, что я прожил жизнь в одиночке, *четверть века* в одиночке, наедине с самим собой, со своими мыслями, которыми было нельзя делиться ни с кем — даже с радистами; суровый закон, испепеляющий, но — непреклон-

ный...

Они думают, что отъединение от мира, неизвестность, мертвая тишина, прерываемая звоном кремлевских курантов и идиотскими выкриками «пост по охране врага народа» (нельзя называть меня «врагом», пока не вывели на трибунал, я — «подследственный», азбука юриспруденции), сломят меня, сделают истериком и податливым дерьмом. Хрен!

Спасибо им за эту одиночку, я волен думать здесь, я совершенно свободен в мыслях; единственный выход — свободомыслие в тюрьме; страшновато, но, увы, — правда, поэтому-то я и вычислил, что не имею права говорить ни слова про Сашеньку и сына, нельзя открывать свою боль, это — непоправимо, будут знать, на что *жат*ь...

Ты достаточно открылся, когда работал на даче, признался он себе с горечью, не забывай этого. Видимо, они тянут не только потому, что это — *метод*, они составляют какой-то особый план, понимая, что со мной работать не просто, профессионал... Ерунда, возразил он, комиссар госбезопасности Павел Буланов тоже был профессионалом, вывозил Троцкого в Турцию, до этого круто работал по бандформированиям, а что

плел на бухаринском процессе?! Какую ахинею нес?! Как оговаривал себя?! «Я опрыскивал ртутью кабинет Ежова». А что, пулю в лоб он не мог пустить?! Надежней, чем ртуть разбрызгивать, сам, кстати, первый от этого разбрызгивания и должен был помереть.

Они готовят план, исходя из системы своих аналогов, из наработанного ими опыта, — именно поэтому они сгорят на мне. Я помню, как мистер Шиббл, когда мы шли в Парагвай через сельву, смеялся, рассказывая, что является признанным эталоном красоты индейской женщины: плоское лицо, надрезы на щеках, закрашенные ярко-красной смолой, зачерненные зубы и кольцо в носу.

А что, верно, у каждой этнической группы свой эталон красоты и манеры поведения: где-то на Востоке принято рыгать, только тогда хозяин удостоверится, что его гость сыт, высшая форма благодарности...

Сергей Сергеевич и тот, кто им управляет, имеют свои эталоны; что ж, посмотрим, как мы наложимся друг на друга.

...На очередной допрос его вызвали в три часа. Сегодня, однако, его подняли на лифте, ввели в приемную — окно затянуто мелкой сеткой, чтоб никто из арестованных не сиганул головою вниз;

за столом-бюро сидел элегантный мужчина в штатском; много телефонов; раньше у нас в ЧК были совершенно другие модели — с «рогами», трубки изогнутые, чтобы говорить прямо в мембрану, а здесь сплошь немецкие, самой последней формы, наверное, вывезли из Германии.

Поднявшись из-за стола-бюро, мужчина отпустил надзирателей и предложил Исаеву:

— Устраивайтесь на диване, руководство скоро освободится...

...Портрет Дзержинского, напротив — Сталина в форме генералиссимуса.

По-моему, никто из русских царей, подумал вдруг Исаев, не чеканил победные медали со своим изображением; в России был Георгиевский крест, были ордена святых — Анны, Владимира; во Франции — розетка Почетного легиона; даже Наполеон не изображал свой профиль на медалях; Сталин не постеснялся.

Странно, отчего мы начинаем думать об очевидном и поражаться этому, только когда судьба ставит нас к стенке? Спасительный инстинкт *отгораживания* от правды? Как у раковых больных? Что это — новое в нас или традиция? «Моя хата с краю, ничего не знаю» — вошло в пословицу более столетия тому назад... Значит, не можем без

царя? Нужен Патриарх? Макс Нордау писал, что вырождаются не только преступники, в которых заложен изначальный посыл зла, но и артисты, политики, писатели, ученые, художники, цвет нации... Неужели этот паршивый прародитель нацизма был прав? Нет, он не был прав, ибо предрекал исчезновение такой «выродившейся» нации, как французы, но ведь рухнула не Франция, а именно Германия; немецкий народ несет на себе отныне тавро нацистского проклятия: нация разрешила фюреру и его банде создать государство ужаса, называвшееся ими «рейхом счастья»; немцы помогли созданию государства, где директивно, по указанию главного пропагандиста Геббельса, *назначались* «таланты», а подлинные таланты изгонялись за границу или сжигались в концлагерях... За все время правления Гитлера не было создано ни одного романа, фильма, картины или спектакля, которые бы оставили о себе память... А изгнанные Брехт и Эйслер знакомы каждому в мире, как и Манн, Ремарк и Фейхтвангер... И ведь немцы аплодировали изгнанию своих гениев, ревели «хайль», когда проезжал обожаемый фюрер, а потом становились в очередь за маргарином, отпускавшимся по карточкам, но в этом были виноваты

большевики, масоны, евреи и мы, славянские недочеловеки, кто же еще?!

А что бы могло случиться с миром, не выгони они Альберта Эйнштейна? Всех тех евреев-физиков, которые сделали американцам атомную бомбу?!

Несчастные немцы... Гитлер рассовал всю нацию по контролируемым, поднадзорным сотам: каждый был членом какой-нибудь гильдии, общества, группы, домового комитета национал-социалистической немецкой рабочей партии; в каждом парадном был представитель «гитлерюгенда» и профсоюзного «трудового фронта» партийного товарища Лея... Он, Гитлер, и его партия превращали людей в бездумные автоматы, они разделяли общество, но ведь лишь человек многогранных интересов, занятый не только бизнесом, но и живописью, не только золотыми рыбками, но и спортом, может способствовать уменьшению разнородности нации, ее единению... Гитлер дал право злым, грубо сильным, недалеким, коварным и обязательно рабски послушным стать пастырями, это и привело нацию к гибели: народ не могут вести хамы, покорные фюреру; покорные трусы ничего не могут без приказа сверху, они теряются, когда надо принять

самостоятельное решение, они некомпетентны, они парализованы тем авторитетом, в который их заставили поверить... А не верили б! Как можно заставить человека поверить в то, что перед ним лев, когда на самом деле это крыса?! Но заставили же! Поверили! Как?! В чем секрет этого механизма оглупления и покорения народа? А мы? Мы, наши люди?..

На столе-бюро что-то запищало, мужчина в штатском поднялся:

— Пожалуйста, вас приглашают к руководству.

Поддерживая локтями брюки, Исаев направился к двери; проходя мимо мужчины, заметил:

— В двадцать первом в этом помещении работал Сыроежкин и его группа, те, которые потом взяли Савинкова.

...Нынешний кабинет, куда вошел Исаев, был раза в четыре больше, чем все помещение группы Сыроежкина; видимо, объединили несколько комнат.

За большим столом сидел крупный, хорошо сложенный человек; ношеный пиджак висел на одном из стульев, окружавших большой стол заседаний; рубашка на этом крупном мужчине с симпатичным лицом и очень живыми глазами была застиранная, мятая, черный галстук при-

спущен.

— Ну, здравствуйте, Всеволод Владимирович, — сказал он, — присаживайтесь, я заказал кофе и бутерброды. Наша баланда, видно, стоит у вас поперек горла? Только-только карточки отменили, что вы хотите, страна лишь начинает оживать...

— Она по-настоящему оживет, — заметил Исаев, — когда не будет сажать своих солдат в одиночки внутренней тюрьмы...

— Тоже верно, — легко согласился мужчина. — Вы правильно расставили акценты: «своих солдат». Чужих — будем сажать и ставить к стенке.

— Докажите, что я не «свой», — можете ставить к стенке.

— Ну, знаете ли, у меня нет времени доказывать вашу невиновность! Это вам — карты в руки! Мне надо шпионов ловить, бандеровцев выкуривать из лесов, мельниковцев, литовских и эстонских «черных братьев»... Кто это за нас будет делать?!

— Я хотел бы знать, с кем я разговариваю. Вы не представились.

— Помощник разве не сказал? Называйте меня генерал Иванов. Можете по имени-отчеству: Аркадий Аркадьевич...

— Я бы хотел спросить вас, в чем меня обвиняют? Я уж тут отдыхаю третий месяц, пора

объясниться...

— Именно за этим я вас и пригласил, Всеволод Владимирович.

Генерал положил крепкую руку на четыре папки, что лежали возле телефона, отличавшегося от всех остальных формой и цветом, внимательно, с некоторой долей сострадания осмотрел Исаева, поинтересовался, хочет ли его собеседник курить; выслушав отрицательный ответ, покачал головой: «Не все обладают такой силой воли, порою за одну затяжку такое начинают нести, что хоть уши затыкай...»

— Давайте по делу, — Исаев говорил сухо, совершенно спокойно, ибо он понял, что сейчас-то и началась *игра*; он слыхал об этом от Айсмана, прием назывался «тепло против холода».

— Давайте, — согласился тот, кто представился «Аркадием Аркадьевичем Ивановым». — Все документы, которые нам удалось собрать на вас, были доложены высшему руководству. Меня уполномочили передать: будущее в ваших руках, Всеволод Владимирович...

— То есть?

Иванов на мгновение задумался, потом, не спуская глаз с Исаева, позвонил по телефону:

— Кофе отменяется и бутерброды тоже. При-

шлите парикмахера, принесите костюм, хорошие туфли, рубашку с галстуком и пуловер... Мы поедем пообедать в гостиницу «Москва». — Он дружески подмигнул Исаеву и, прикрыв ладонью мембрану, поинтересовался: — Как относитесь к такого рода перспективе, а?

Поднявшись из-за стола, генерал набросил на плечи обшарпанный пиджак:

— Вчера вернулся из Лондона, погода там дрянь, знобит чего-то, третью таблетку аспирина жую, как бы не свалиться... Кстати, то, что ни словом не обмолвились на допросах о жене и сыне, свидетельствует о том, что вы верно избрали линию защиты: не показывать болевые места контрагенту. Но беда в том, что все ваши предыдущие разговоры — на даче — фиксировались. Мы их тщательно изучили: мера искренности, степень привязанности к тем, кого так давно не видели, так что сейчас нам ясно: все эти недели вы готовились к драке. Правильно, кстати, делали... Побеждает — сильный.

— Побеждает умный.

— Э, пустое, Всеволод Владимирович! Романтика, прошлый век... Думаете, следователь Каменева был умнее Льва Борисовича? Сильнее был! Власть имел! Право на поступок! Оттого

и победил... А ведь молодой был, тридцать два года всего... А вы, умница, столько напортачили в течение двух допросов, что вас с мылом мой — не отмоешь... Кто создатель Красной Армии? Троцкий? Ваши слова? Ваши. Вот вам восемь лет тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Красную Армию создали Ленин и Сталин, руководил же ею Иосиф Виссарионович... Кто с Лениным ехал через Германию? Зиновьев? Ваши слова? Ваши. Еще десять лет — антисоветская пропаганда. На суде от своих слов не откажетесь? Не откажетесь. А суд будет открытый, публика станет кричать, требуя смерти гнусному клеветнику, агенту гестапо, а в прошлом связнику между врагами народа Постышевым и Блюхером с гитлеровским шпионом Троцким, — вы ж и эти свои показания подписали... И мы будем вынуждены приговорить вас по совокупности к смертной казни, но мы после победы подобрели, казнь автоматом меняем на четверть века лагерей, этим вы себя уже обеспечили... И не вините нас, никто вас за язык не тянул, а если выбрали принципиальную позицию — что ж, валяйте, выведем на *очень* открытый суд где-нибудь на заводе, посмотрите на лица людей, убедитесь в том, что вы пушинка, *ничто*, тогда-то и дрогнете...

Вошедшему парикмахеру сказал:

— Побрейте с «шипром»... Стригите аккуратно под полубокс, скопируйте тот фасон, что я привез вам из Лондона.

...Они стремительно выехали на «ЗИСе» из тюрьмы; возле ресторана «Иртыш», что наискосок от памятника первопечатнику Ивану Федорову, Иванов сказал притормозить, вышел из машины первым, протянул руку Исаеву, усмехнувшись при этом: «Не шатает?», захлопнув дверцу, бросил шоферу:

— Позвоню.

Максим Максимович ощутил в горле слезы: его обтекала толпа *своих*, он слышал русскую речь, она сливалась в какую-то музыку, он ощутил в себе могучие такты «Богатырской симфонии», на какой-то миг совершенно забыл, что его вывезли из тюрьмы, что это один из эпизодов в той работе, которую против него ведут, одна из фаз задуманной операции; он просто вбирал в себя лица людей, их голоса, смех, сосредоточенность, радость, угрюмость, спешку; *свои*...

Иванов, цепко наблюдавший за ним, чуть тронул его за локоть:

— Ну, пошли, тут до ресторана «Москва» рукой подать.

— Сейчас, — ответил Исаев. — Меня действительно зашатало.

И вдруг с мучительной ясностью он ощутил свою расплющенную, *козявочью* крошечность, ибо понял, что в этом совершенно новом для него городе — с махиной Совнаркома, с гостиницей «Москва», с «Метрополем», ставшим отелем, а в его годы бывшим вторым (или третьим?) Домом Советов, он — один, совсем один... На третьем этаже «Метрополя» в двухкомнатном номере жил Бухарин (Феликс Эдмундович как-то попросил его, «Севушкой» называл, съездить к «Бухарчику» за отзывами о работах академиков — тот особенно дружил с любимцем Ленина электротехником Рамзиным и Вавиловым; первого арестовали в конце двадцатых, другого — девять лет спустя). Там же, в однокомнатном номере, жил мудрец Уншлихт; впервые Максим Максимович увидел, как трагично изменились глаза зампреда ВЧК в восемнадцатом, после подавления мятежа левых эсеров. Уншлихт тогда тихо, на цыпочках, вышел от Дзержинского: тот никого не принимал, подал в отставку, заперся у себя в кабинете, который был одновременно совещательной комнатой и спальней (ширма отгораживала его койку); левый эсер Александрович, первый заместитель

Дзержинского, старый друг по тюрьмам и ссылке, был объявлен им в розыск и провозглашен «врагом трудового народа»... Каково подписать такое? Всю следующую неделю на Дзержинского было страшно смотреть: щеки запали, черные провалы под глазами, новые морщины у висков и на переносье...

...Я совершенно один в этом незнакомом мне, новом, неизбывно родном, русском городе, повторил себе Исаев; если бы меня вывезли из тюрьмы в Германии — допусти на миг такое, — я бы знал, к кому мне *припасть*: тот же пастор Шлаг, актер из «Эдема» Вольфганг Нойхарт... Господи, стоит только броситься в толпу, проскочить сквозь проходные дворы Берлина, известные мне как пять пальцев, оторваться от этого «Иванова», и я бы исчез, затаился, принял главное решение в жизни и начал бы его исподволь осуществлять... И в Лондоне я бы нашел Майкла, того славного журналиста, который прилетел с Роумэном в аргентинскую Севилью, и в Штатах — Грегори Спарка или Кристину, и в Берне — господина Олсера, продавца птиц на Блюменштрассе, а к кому мне припасть здесь?! Ведь я даже не знаю адреса Сашеньки и сына! Да и дома ли они?! Этот Иванов хорошо думает, он *развалил* меня, когда походя

заметил, что молчание по поводу семьи показывает, что это — самое затаенно-дорогое в моей жизни... Я на Родине, у *своих*, но это новые *свои*, никого из тех, с кем я начинал, нет более, все они «шпионы», все те, кто окружал Дзержинского, — «диверсанты», все те, кто работал с Лениным, — «гестаповцы»... Мне не к кому припасть здесь. И против меня работает огромный аппарат для чего-то такого, о чем я не знаю и не смогу догадаться до той поры, пока они не откроют карты, а откроют они свои карты только в том случае, если заметят, что я хоть в малости дрогнул, *потек*, перестал быть самим собою...

— Ну, пошли, — повторял Иванов. — После обеда покатаемся по городу, покажу новую Москву, небось интересно?

— Еще бы...

Они двинулись вниз, к Охотному ряду, который перестал быть базарным *рядом*, а сделался огромной площадью — шумной, в перезвоне трамваев и гудках автомобилей; как много трофейных «БМВ», «хорьхов» и «майбахов», машинально отметил Исаев; и еще очень много людей в царских вицмундирах, такие носили финансисты; он помнил эти мундиры по декабрю семнадцатого, когда участвовал в национализации банков.

— Слушайте, Аркадий Аркадьевич, — спросил Исаев, кивнув на спешивших куда-то чиновников, — а когда ввели эти вицмундиры?

— Недавно, — ответил тот. — Одновременно с переименованием народных комиссариатов в министерства.

— Смысл? Зачем отказались от наркоматов? «Народный комиссариат» — это же символ Революции.

— Не ясно? После победы произошел реальный прорыв России в мировое сообщество. Надо убрать фразеологические барьеры, на Западе, представьте себе, до сих пор плохо понимают, что такое «нарком»... В конечном итоге, какая разница? Что нарком руководит ведомством, что министр — смысл социализма от этого не меняется...

Если бы не менялся смысл, это наверняка предложил бы Ленин, когда мы вырвались в европейское сообщество после договора в Рапалло, сказал себе Исаев.

— Не согласны? — поинтересовался Иванов.

— Вы преподали мне урок: над каждым словом надо думать, у вас умеют каждое слово, словно лыко, ставить в строку...

— Вы поразительно сохранили язык, — задум-

чиво сказал Иванов. — У вас прекрасный русский, нашим бы нынешним чекистам так говорить, как старая гвардия...

— Вы записываете наш разговор? — спросил Исаев. — Или в этом нет нужды, внесете мои ответы в протокол допроса по памяти?

— Будет вам... Меня-то не считайте монстром, как не стыдно...

— Стыдить меня не стоит, Аркадий Аркадьевич... В камере сижу я, а не вы... Про запись я спросил вот почему: стоит ли реанимировать царские вицмундиры? Ну ладно, отменили «командиров» и вернули «офицеров», лампасы, золотые погоны... Допускаю, в сорок третьем надо было думать о той части страны, которую предстояло освобождать... А там в каждом городе выходили *собственные* нацистские газеты, которые редактировали *наши* люди, работала *русская* полиция, агентура, *свои* палачи, лютовали *свои* подразделения СД; надо было продемонстрировать тем, кто прожил в оккупации годы, что мы от комиссаров *отступили* к прежней России; компромисс; отсюда, как я понимаю, замена института комиссаров на «замполитов»... Но зачем сейчас гражданских чиновников одевать во все царское? Вам сколько лет, Аркадий Аркадьевич?

— Тридцать семь, — ответил тот несколько рассеянно, стараясь, видимо, скрыть раздражение.

— Значит, помните форму царских жандармов? Милиционеры одеты именно в жандармскую форму! Только что без аксельбантов... Вы, кстати, читали в книгах по истории, что главным лозунгом солдатской массы в семнадцатом году был «Бей золотопогонников!»?

— Золотопогонниками были дворяне, — возразил Иванов. — Мой отец из бедняков, Всеволод Владимирович. Так что речь надо вести не о форме, но о содержании.

— Генерал Шкуро из крестьян. Сотрудник Гиммлера генерал Краснов был сыном сельского учителя, да и нацист Бискупский, генерал царя, тоже из разночинной семьи.

— Нет, — вздохнул Иванов, — ничем я вам не смогу помочь, ежели вы такое несете, честное слово... Я вас слушаю с интересом, мотаю на отсутствующий ус, но если мы остановим всю эту уличную толпу и я разрешу вам высказать то, что вы только что говорили мне, вас втопчут в асфальт.

...В ресторане «Москва» они устроились возле окна; вид на Кремль был ошеломляющим; Исаев нашел глазами те окна в «Национале», где жили

Ильич и Надежда Константиновна; Каменев жил этажом выше, рядом с ним был приготовлен двухкомнатный номер для Троцкого, но наркомвоенмор сразу же перебрался в свой поезд, который сделался его штабом, — вплоть до конца двадцатого мотался по фронтам: в номере жили его жена Наталья Седова и сыновья Сережа и Лев.

— Я предлагаю меню, — сказал Иванов, разглядывая наименования блюд, написанные на шершавой серой бумаге от руки. — Закуска: селедка с картошкой, две порции икры и балык. Сборную солянку будете? Не забыли, что это такое?

— Я просто не знаю, что это такое, — ответил Исаев. — В Москве и Питере такого в мое время не было, во Владивостоке подавали все больше рыбные блюда.

Иванов поднял глаза на Исаева, в них было сострадание:

— Тогда обязательно угощу сборной солянкой... Это наше, типично русское... Потом возьмем рыбу «по-монастырски», тоже из серии забытых блюд, так сказать, золотопогонных... Традиционная еда, наша, не «деваляй» какой или «шнитцель»... Русская кухня вполне может соревноваться с

французской, и не только соревноваться, но и победить... Это я вам — за вицмундиры, — рассмеялся Иванов, — под ребро, чтоб знали, на что замахиваетесь... «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь» — формула отлита в бронзу...

Исаев хотел сказать, что помнит ярость Ильича, когда Сталин предложил *включить* Украину, Закавказье, Белоруссию и Туркестан в *состав* РСФСР, автоматически подчинив их Москве; Ленин ярился так, как умел яриться только он — открыто, с гневом: не включение в РСФСР, а добровольное соединение, с правом выхода из Союза! Не имперское *поглощение*, а братское соединение народов, освобожденных Революцией. Нет, этого ему говорить нельзя, я и так сказал слишком много, подумал он, но я должен был сделать нечто, чтобы — в свою очередь — *раскачать* этого «Аркадия Аркадьевича»; разгневанный человек чаще открывается, а мне нужно хоть в малости понять его, я хожу в потемках, они меня запутали, я ничего не понимаю, такого со мною не было еще...

Однако Иванов открылся сам. После того как официантка убрала стол и поинтересовалась, что «дорогие гости» возьмут на «третье» (единствен-

ное слово, что осталось от моих времен, подумал Исаев; на Западе это называют «десерт»; мы во время революции «третьим» называли компот), генерал заказал мороженое с вареньем и кофе, дождался, пока официантка отошла, достал из кармана фотографию и протянул ее Исаеву:

— Знаете этих людей?

— Одного знаю очень хорошо. Это Эйхман, в гестапо он занимался уничтожением евреев... Я же писал о нем, когда *работал* на даче...

— Читал... Очень интересный материал... Эйхман скрылся... Мы делаем все, чтобы найти этого изувера... А тот, кто рядом с ним? В штатском?

— Знакомое лицо... Очень знакомое... Я этого человека видел...

— Не в гестапо?

— Гестапо — не моя епархия, — усмехнулся Исаев. — Я бы застрелился, доведись мне там работать...

Иванов искренне удивился:

— Почему?! С точки зрения разведчика — это поразительный объект для оперативной информации.

— Верно. Но мне пришлось бы, как и всем сотрудникам Мюллера, принимать участие в допросах, которые чаще всего сопровождались

пытками... А пытали там не *своих*, а *наших*... Вы бы смогли там работать?

— Вопрос жесткий, — Иванов ответил не сразу, лоб собрало морщинами, лицо как-то постарело, выявилась тяжелая, многолетняя *усталость*. — Я сразу и не отвечу. Вы меня поставили в тупик, честно говоря... Ладно, а у вас, в шестом управлении, в разведке, у Шелленберга, вы этого человека не встречали?

— Нет. Я его встречал где-то в посольствах... Или у Риббентропа, на Вильгельмштрассе...

— Когда? В какие годы?

— Опять-таки боюсь быть неточным, но это были последние месяцы войны...

— Сходится, — сказал Иванов, и то напряжение, которое так изменило его лицо, сменилось расслабленностью; даже на спинку стула отвалился. — Фамилию не помните?

— Нет.

— Кто он, судя по лицу, по национальности?

— Я не умею определять национальность по лицу, ушам или черепу, — ответил Исаев. — Это в рейхе знали рейхсминистр Розенберг, псих Юлиус Штрайхер и пропагандист-идеолог Геббельс... У них надо консультироваться...

— Валленберг... Вам что-нибудь говорит это

имя?

Исаев снова посмотрел на фотографию, кивнул:

— Вы правы, это Валленберг, банкир из Швеции.

— Вам не кажется странным, что еврейский банкир из Швеции дружески беседует с палачом еврейского народа?

— Шведский банкир, — уточнил Исаев, — в Швеции нет национальности, там есть вероисповедание... Валленберг, мне кажется, был католиком... Он работал в шведском посольстве в Будапеште, там Эйхман не только уничтожал евреев, но старался часть несчастных обменять на машины и бензин для рейха... Видимо, Валленберг, как и граф Бернадот, родственник шведского короля, пытался спасти как можно больше несчастных...

Иванов спрятал фотографию в карман, дождался, пока официантка расставила на столе мороженое и кофе, а потом сказал:

— Дело в том, что Валленберг у нас... И мы располагаем данными, что он сотрудничал с Эйхманом... В общем-то, вы могли убедиться в этом, разглядывая их улыбающиеся лица, — говорят не враги, а друзья... Мы не хотим портить отноше-

ния со шведами, нам хочется провести открытый суд, изобличить Валленберга, а потом выслать его к чертовой матери в Стокгольм... Мы попали в сложное положение, понимаете? Я расскажу вам суть дела, если согласитесь помочь мне...

— То есть?

— Либо мы переведем вас в камеру к Валленбергу и вы как Штирлиц, а не Исаев, убедите его в целесообразности выйти на открытый процесс, принять на себя хотя бы *часть* вины в сотрудничестве с Эйхманом, то есть с гестапо, или же на открытом процессе дать показания — в качестве Штирлица, а не Исаева, — что вы знали о сотрудничестве Валленберга с Эйхманом...

— Второе исключено: вас уличат во *лжи*... Я, чтобы вернуться на родину, сказал англичанам, что являюсь русским разведчиком; Максим Максимович Исаев, он же Юстас, вы читали мою исповедь...

— А если не это обстоятельство? Вы бы предпочли второе предложение?

Исаев ответил не сразу; конечно, второе, думал он, это мой единственный шанс... На открытом процессе я скажу всю правду, если только там будут иностранные журналисты и наши писатели вроде Вишневского и Эренбурга, как на Нюрн-

бергском процессе...

— Я боюсь, что после процессов тридцатых годов, — сказал Исаев, — если не будет иностранной прессы со всего мира, если об этом не будет снят фильм, вам не поверят... Жаль, кстати, что процессы над генералами Власовым и Малышкиным были закрытыми... Я не мог понять, отчего их не транслировали по радио... Измену, настоящую, а не мнимую, надо обличать публично, чтобы люди слышали и видели воочию...

— Беретесь написать сценарий вашего поединка с Валленбергом на открытом процессе, где будет пресса и кино со всего мира?

— Он отрицает связь с гестапо?

Иванов долго смотрел в глаза Исаева, не в надбровье, не на уши, а именно в глаза; потом, вздохнув, ответил:

— Да.

— Я должен ознакомиться с документами, Аркадий Аркадьевич. Это во-первых. После этого процесса я наверняка тоже буду осужден как штандартенфюрер СС Штирлиц, и не только осужден, но и ликвидирован — лжесвидетеля полагается нейтрализовать, это во-вторых. И вообще вся ваша конструкция кажется мне липовой, потому что, как только английские

журналисты сделают мои фото, а хроникеры перешлют в Лондон пленку, вас схватят за руку, и это будет такой позор, от которого не отмоешься: русский Юстас играет роль немца Штирлица...

— Хорошо, а если мы предпримем такие шаги, что Лондон промолчит?

Исаев вздохнул:

— Будет вам, Аркадий Аркадьевич! Я ж в разведке побольше вас отслужил...

— И все-таки, — поднимаясь из-за стола, повторил Иванов, — если мы решим вопрос с Лондоном, вы согласитесь оказать услугу Родине?

— Сначала вы мне должны доказать, что эта услуга нужна Родине. Затем вы должны устроить мне встречу с семьей, а потом объяснить, как вы «решите вопрос с Лондоном»...

— Подождите пару минут, я вызову машину, — сказал Иванов.

— Только не уходите на сутки, как Сергей Сергеевич, меня в милицию заберут, денег-то нет, — усмехнулся Исаев. — Чем я расплачусь за такой сказочный обед?

...Когда они спустились к «ЗИСу», Исаев сразу заметил, что рядом с шофером сидит чем-то знакомый ему человек; наклонил голову, словно бы завязывал шнурок ботинка; заметил он и то, что

возле двери салона сидел бугай с майорскими погонами; он, таким образом, оказался посередине — между майором и Ивановым, как и полагается арестованному.

Когда «ЗИС» резко взял с места, тот, что сидел возле шофера, распрямился и медленно повернул голову.

Это был Макгрегор.

7

— Знакомьтесь, Всеволод Владимирович, это Викентий Исаевич Рат, наш сотрудник, — сказал Иванов. — Лондон у нас оборудован неподалеку в стране, как говорится, доверяй, но проверяй. Не заподозрили игру? Как язык нашего Макгрегора?

— Блестящая работа, — ответил Исаев. — Поздравляю.

Сказать ли им про трамвайный перезвон, который удивил меня, когда они гнали на «военный аэродром», подумал Исаев, или приберечь? Видимо, стоит приберечь, потому что у меня тогда только мелькнула тень подозрения, я действительно верил, что попал к англичанам, я был слишком счастлив, когда после этого ублюдка «никс фарштеен» и одеяла с клеймом теплохода «Куйбышев» услышал оксфордское придыхание; слишком страшно было поверить, что в смрадный трюм меня бросили *свои*...

— Честно признаться, — сказал Рат и, словно мальчишка, став на колени возле шофера, повернулся к Исаеву, — я здорово волновался, когда шел к вам на первую встречу.

— Встречей я определяю мероприятие иного рода, — усмехнулся Исаев, завороженно разглядывая улицу Горького. — Вы шли на допрос, а не на встречу.

— Вопрос с Лондоном, который вы определяли как «главный», — решен, правда? — спросил Иванов.

— Осталось решить еще два, — ответил Исаев.

— Я помню.

— А как называется этот проспект? — спросил Исаев, когда они переехали мост, переброшенный через подъездные пути Белорусского вокзала.

— Ленинградский, — ответил Рат. — Ведет к Химкинскому водохранилищу, прекрасные пляжи, сосновый бор, трудящиеся отдыхают по воскресеньям.

— Посмотрим?

Иванов кивнул:

— Рабочие новостройки посетим в следующий раз, у меня скоро совещание, руководство не поймет, если я опоздаю.

— Вы — руководство, — Исаев усмехнулся. — Так вас называет секретарь.

Иванов пожал плечами:

— Штампы довольно быстро входят в обиход, вытравить их куда труднее... Я должен быть у

товарища Абакумова, он министр — это и есть руководство...

— Санкцию на свидание с женой и сыном дадите вы? Или *руководство*?

— Это не простой вопрос, Всеволод Владимирович... Мы разделим его на два этапа...

— То есть?

— С матерью вашего сына вы встретитесь в ближайшие дни, после того как начнете писать сценарий... Стенограф Коля, видимо, неприятен вам, так что я попрошу подключиться к работе милого Макгрегора... Не возражаете, Викентий Исаевич? — не глядя на Рата, утверждающе спросил Иванов.

— Я с радостью, — ответил тот. — С Максимом Максимовичем одно наслаждение трудиться, школа...

— Вы не спросили мое мнение, Аркадий Аркадьевич, — сказал Исаев, продолжая жадно смотреть на людей, шедших по проспекту, на очереди возле троллейбусных остановок, на витрины магазинов, не мог скрыть восхищения стадионом «Динамо» (Иванов заметил: «Наш, мы строили») и повторил: — Мое мнение вас не интересует?

— Отводите Рата?

— Отнюдь... Я начну работать лишь после того, как получу свидание с... женой... матерью моего сына... И с ним, Саней...

— Договорились, — легко согласился Аркадий Аркадьевич. — Накидайте пару страничек плана сценария, никакой конкретики, *вероятия*... После этого получите встречу. Если передадите наметку, встреча состоится на квартире... Не напишете — свидание в тюрьме.

— В тюрьме... — повторил Исаев.

— Подумайте, — сказал Иванов. — Я понимаю ваше состояние, но не торопитесь с окончательным ответом... Ваше постоянное недоверие к нам, своим коллегам, может обернуться всякого рода непредвиденными трудностями, Всеволод Владимирович.

— Я ответил, Аркадий Аркадьевич. Другого ответа не будет...

Под утро Исаев проснулся от истошного вопля; он вскочил с койки, потер лицо; выл кто-то совсем рядом, скорее всего, в соседней камере; потом он услышал крик; немец, голос знакомый, господи, это же Риббе — тот, с которым Макгрегор сводил его в «Лондоне».

— Нет, нет, молю, не надо! Я согласен! — вопил Риббе. — Не надо!

— А когда ты пытал коммунистов, о чем ты думал?! — человек не кричал, но говорил с болью, громко; потом забубнил переводчик.

— Я не пытал! Клянусь! Я никогда никого не пытал! Я работал в картотеке, пощадите, молю!

Штурмбанфюрера, видимо, вытаскивали из камеры, он хватался за дверь, сопротивлялся, потом ему заломили руки — судя по тому, как он взвизгнул, — и быстро потащили по коридору; крик его был слышен еще минуты три, потом где-то хлопнула дверь, и наступила гулкая тишина...

Прошло еще четыре недели; свидания не было, на допросы не вызывали: прогулка, гимнастика, прикидки возможных *партий*, лицо Сашеньки в слезах, и глаза сына — в минуту прощания в Кракове, декабрь сорок четвертого...

Порою он впадал в отчаяние, но резко, презрительно даже, одергивал себя: они только этого ждут. Всякое лишнее движение может лишь ухудшить положение тех, кого он любит. Его больше нет. Он кончен. Надо бороться за своих.

...Скрываемо все, кроме правды. Жаль, что ждать приходится века, но все равно тайное всегда делается явным, хоть и разнотолкуемым, увы...

...Он то и дело вспоминал свою последнюю встречу в Испании, в тридцать седьмом, с Антоновым-Овсеенко, Сыроежкиным, Малиновским, Орловым, Смушкевичем, оператором Романом Карменом и старым знакомым — еще с Октября семнадцатого — Михаилом Кольцовым; кроме Антонова, который именно тогда и сказал: «Приказано выжить», Кольцов на его, Исаева, вопрос, что происходит дома, пожал плечами, усмехнулся: «Борьба есть борьба, она не исключает эмоций», долго смотрел на Исаева сквозь толстые стекла очков, и в глазах его метался то ли смех, то ли отчаяние; Жора Сыроежкин, ветеран ЧК, отвел его в сторону и тихо сказал, что настоящая фамилия его адъютанта Савинков и что он студент из Парижа. «Я постоянно чувствую себя перед ним в неоплаченном долгу — ведь его отца я брал на границе... Парень горячий, рвется в диверсанты, я его при себе оставил: отец погиб, пусть сын выживет... Один тип — пришел в ЧК в прошлом году — порекомендовал мне отделаться от «компрометирующей связи», я, понятно, послал его на хер, он наверняка отправил сообщение в Центр, а там теперь любят сенсации...»

Через полгода Жору Сыроежкина расстреляли, об этом со смехом и радостью сообщили в РСХА:

«Ас русской разведки, как выяснилось, был нашим агентом, жаль, что мы об этом узнали только сейчас, дорого б мы дали, стань он действительно нашим агентом».

В те месяцы все протоколы процессов, публиковавшиеся в русских газетах, ежедневно переводили в службе Гейдриха; перепечатывали на особой машинке с большими буквами — ясно, для Гитлера. Тот не носил очки: это могло помешать *образу*, созданному пропагандистами: у великого фюрера германской нации должны быть орлиное зрение, богатырские плечи и вечно молодое, без единой морщинки лицо.

Гейдрих ликовал:

— Сталин повернулся к нам! Вместо идеологии интернационального большевизма он предложил *государственную* концепцию, а это уже предмет для делового обсуждения, можно торговаться... Каменев, Пятаков, Раковский, Радек, Крестинский — адепты Коммунистического Интернационала — расстреляны; на смену им приходят *антиличности*, механические исполнители сталинской воли; именно теперь можно разделаться с паршивыми демократиями Парижа и Лондона; Россия, лишенная командного состава, парализована.

Когда были расстреляны последний председатель Коминтерна Бухарин и бывший премьер Рыков, он, Исаев, практически подошел к ответу на мучившие его вопросы: сначала он заставлял себя думать, что Политбюро и Сталин не знают всей правды; поскольку всех ветеранов к началу тридцатых годов разогнали, вполне могло случиться, что в органы проникла вражеская агентура. Германская? Нет, иначе об этом, как о великой победе, Гейдрих бы доложил фюреру и наверняка поделился бы с Шелленбергом; хорошо, но ведь и англичане не испытывают страстной любви к большевикам, и французы, а *службы* у них крепкие... Но почему тогда Троцкого, Радека, Бухарина обвиняли именно в германском шпионстве? Это же не могло не вызвать *дома* взрыв ненависти против гитлеровцев? Почему, тем не менее, Гейдрих так ликовал?

...Исаев начал вспоминать, заставляя свою *память* работать фотографически, избирательно, когда и где он видел Сталина.

В девятнадцатом? Вроде бы да. В президиуме Сталин садился рядом с Каменевым или сзади Троцкого; не выпуская маленькой трубки изо рта, улыбчиво и доверительно переговаривался

с ними, поглядывая изредка в зал; работники Секретариата чаще всего подходили к нему, реже к Зиновьеву, как-никак — один из вождей, Сталин вдумчиво, медленно читал документы, правил их и лишь потом передавал *первому* ряду — Ленину, Троцкому, Каменеву, Бухарину, Зиновьеву. Он порою улыбался, улыбка была потаенной, но мягкой; только один раз, когда Ленин исчеркал бумагу, переданную ему Сталиным, и несколько раздраженно, не оглядываясь даже, протянул ее народному комиссару по делам национальностей, Исаев вспомнил, как глаза Сталина сделались щелочками, а лицо закаменело, превратившись в маску; но это было одно лишь мгновение, потом он поманил кого-то из товарищей, работавших в *аппарате* Секретариата, и, полуобняв его, начал что-то шептать на ухо, указывая глазами на ленинские перечеркивания...

Геббельс — после расстрела ветеранов НСДАП Эрнста Рэма и Грегора Штрассера — дал в газетах сообщение, что лично фюрер ничего не знал о случившемся, идет расследование, о результатах будет сообщено дополнительно, и было это за полгода до того, как убили Кирова.

Гейдрих отмечал, что в советской прессе полная неразбериха: сначала обвинили монархо-эсе-

ровскую эмиграцию, потом обрушились на троцкиста Николаева, а уж потом арестовали Каменева и Зиновьева — эффект разорвавшейся бомбы.

Исаев тогда заставил себя откинуть вопросы, терзавшие его, страшные аналогии, которые были вполне закономерны, параллели, напрашивавшиеся сами собой. В тридцать восьмом, когда обвиняемые, кроме Бухарина, признались в том, что служили немцам через Троцкого — «главного агента Гитлера», которого нацистская пресса называла «врагом рейха номер один», Исаев вдруг подумал: «А что, если этот ужас нужен *нам* для того, чтобы заключить блок с демократиями Запада против Гитлера?»

Это было успокоение, в которое он заставлял себя верить, слыша в глубине души совершенно другое, запретное: но если те откажутся от блока с нами, Сталин легко повернет к Гитлеру: «С теми, кто был мозгом и душою большевистской теории и практики, покончено, мы стали *державой*, мы готовы к диалогу, а вы?»

Политика альтернативна; вчерашний враг часто становится другом; Александр Первый после сражения с «мерзавцем Николаем» сел с ним в Тильзите за дружеский стол переговоров — кон-

сул Бонапарт стал императором; с ним можно было сотрудничать, только набраться терпения и такта...

...Исаев снова увидел лицо отца, его седую шевелюру, коротко подстриженные усы, выпуклый, без морщин лоб и — он хранил в себе эту память особенно бережно — услышал его голос. Отец, как всегда ничего не навязывая, изучал с ним дома, в Берне, то, что в гимназии *проскальзывали*, уделяя теме всего лишь один урок...

Почему-то особенно врезалась в память история Катилины.

В гимназии учитель рассказывал, что «омерзительный развратник и злодей Катилина, предав родину, ушел в стан врагов и за это поплатился жизнью». Учитель задал ученикам упражнение на дом: выучить три пассажа из речей Цицерона, обращенных против изменника. Исаев, тогда еще «Севушка», зубрил чеканный текст обвинительной речи с увлечением, в ломком голосе его звучали гнев и презрение к врагу демократии, посмевшему поднять руку на прекрасные общественные институты древней Республики...

Что же я тогда читал, подумал Исаев. Интересно, смогу вспомнить? Должен, сказал он себе.

Он остановился посреди камеры, расслабился и

приказал себе *увидеть* кухоньку, где отец, умевший легко обживаться, поставил старенький стол, накрыл его крахмальной скатертью, повесил на стенах репродукции Репина, Ярошенко, Серова, Сурикова, барона Клодта; керосинку, раковину и ведро для мусора отгородил фанерой, задекорировав ее первомайскими плакатами французских и немецких социалистов, получилась уютная гостиная-столовая. В комнате, которая была их спальней и одновременно кабинетом отца, висели литографии Маркса, Энгельса, Бебеля; стеллажи были заполнены книгами, журналами, газетами, и этот кажущийся беспорядок лишь придавал их жилищу какой-то особый аристократический шарм.

Диванчик, на котором спал Всеволод, был застелен шотландским черно-красным пледом; свою узенькую коечку отец покрывал старой буркой: его любимой книгой — знал почти наизусть — был «Хаджи Мурат». Как же давно все это было! Да и было ли вообще? — горестно спросил себя Исаев, снова осмотрев грязно-фиолетовые, покойницкие стены камеры.

Это было, ответил он себе, и это во мне, а когда меня убьют, это останется в мире, потому что старик Шамес был прав — энергия разума не ис-

чезает, надо уметь на нее настроиться, наверняка ученые изобретут аппарат, который запишет мои мысли и заложит их в архив человеческой памяти...

А читал я тогда, ликующе вспомнил он, вот какие строки из Цицерона: «Честолюбие заставило многих людей сделаться лжецами, одно держать втайне на уме, другое высказывать на словах... Эти пороки росли сначала едва заметно, иногда даже наказывались; после, когда зараза внедрилась, общество изменилось в корне и верховная власть из самой справедливой превратилась в жестокую и совершенно неприемлемую...»

Исаев замер, потому что явственно услышал голос отца, который тихонько, извиняющимся голосом заметил, что это не Цицерон, а Крисп; консул Цицерон говорил иначе, у него была блистательная система доказательств, первый прагматик мира; послушай, как он вел свою линию против Катилины: «Сейчас ты явился в Сенат. Кто обратился к тебе с приветствием? Зачем тебе ждать словесного оскорбления, когда ты уже уничтожен грозным приговором *молчания*?! С твоим приходом места возле тебя опустели. Вся Италия заговорила со мной: „Марк Туллий, что ты делаешь?! Неужели ты не отдашь распоряже-

ние заключить Катилину в оковы и применить к нему не просто казнь, но самые отчаянные пытки?“».

Я тогда спросил отца: отчего Цицерон и вправду не казнил изменника и корыстолюбца? Вот тогда-то он и ответил, что историю Катилины нам преподают нечестно, видимо, еще не пришло время открыть правду про этого доброго и честного бунтаря, которого Цицерон смог представить человечеству убийцей, развратником, вором и предателем...

«Будущее вынесет свой приговор, — сказал тогда папа. — Революция позволит заново понять историю, оправдать тех, кого клеймили преступниками, и с презрением отнестись к властолюбцам, кто называл себя праведниками... Наверное, учитель не читал вам эту часть третьей речи Цицерона: „Я желаю, чтобы все мои триумфы, почетные отличия, все памятники, увековечивающие мою славу, оказались глубоко запечатленными в ваших сердцах... Мои подвиги будут питаться вашей памятью, они будут расти, передаваемые из уст в уста, они глубоко внедрятся в скрижали истории и займут в них почетное место...“»

Отец тогда усмехнулся: «Можешь себе предста-

вить, чтобы нечто подобное сказали Плеханов, Кропоткин или Засулич? А помнишь, как Цицерон уверял римлян, вынеся смертный приговор соратникам Катилины, что казнь встречена всем народом с полным энтузиазмом?! Как он возносил себя, утвердившего казнь?! А вот чьи это слова: «Римское государство попало в кабалу олигархов, и граждане сделались бесправной, презренной чернью! Олигархи не знают, куда девать свои богатства, транжирят их на застройку морей и срытие гор, а у других дома — бедность, вне дома — долги... Только тот, кто сам несчастен, может быть заступником несчастных»? Это слова «изменника» Катилины. Почему Цицерон так его ненавидел? Только из-за разности идейных позиций? Нет, Севушка, он ненавидел его еще и потому, что Катилину впервые судили за то, что он, юноша, был искренне влюблен в весталку Фабию, сестру жены Цицерона... В политике всегда надо искать не только общественную, но и личную подоплеку... А когда Катилина внес предложение кассировать, то есть отменить все долги ростовщикам, он сделался самым популярным человеком Рима, это и испугало олигархов, отсюда та клевета, которая была обрушена на него... Он выставил свою кандидатуру в консу-

лы, и он бы стал консулом, но в действие была введена провокация, и Цицерон, получив власть, обвинил Катилину в заговоре и измене... Сколько прошло веков, прежде чем мы узнали не только речи Цицерона, но и позицию Катилины? И что же, мы подняли Катилину на щит, как народного героя? Судя по тому, что вам задают учить в классах, педагогика буржуа до сих пор страшится открыть правду... Подвергай все сомнению, сын, прекрасная позиция...»

...Исаев присел на табурет, обхватил голову руками: зачем мне привиделось все это, подумал он, почему я вновь, как в самые счастливые или горькие минуты жизни, услышал отца?

Ты услышал его потому, медленно, превозмогая себя, ответил он, что никогда не забывал то выступление Каменева в двадцать пятом, когда он открыто перед съездом потребовал устранения Сталина. Вот почему ты сейчас вспомнил Цицерона и Катилину; ты просто боялся назвать *имя*, ты до сих пор страшишься говорить себе правду, ты ищешь искренность в словах Аркадия Аркадьевича, который так хочет выслать этого самого Валленберга в Швецию, только для этого ему надо доказать миру, что шведский банкир был агентом гестапо. А не так ли работали с Алек-

сеем Ивановичем Рыковым девять лет назад? Тебя приглашают влезть в дерьмо для того лишь, чтобы сделать «благо» другому человеку. И я все время возвращаюсь мыслью к его предложению сделать добро Валленбергу, с «которым мы попали в глупое положение», разве нет? Я запрещаю себе даже думать о *подсадке*, но именно потому, что я постоянно запрещаю это, значит, так же постоянно эта мысль живет во мне!

...В конце пятой недели его разбудили в половине пятого утра; на пороге стоял тот самый Сергей Сергеевич, которого он назвал тварью...

Лицо его было уставшим, осунувшимся, в глазах застыла боль...

— Поднимайтесь, — сказал он. — Зря вы на меня наговорили руководству... Мне строгача объявили, а я ведь отца похоронил...

8

Исаев почувствовал, как ослабли ноги и остановилось сердце, когда в камере, куда его ввели, он увидел Сашеньку, сидевшую на табурете.

Это была не Сашенька, а седая женщина с морщинистым серым лицом и высохшими руками; только глаза были ее — огромные, серые, мудрые, скорбные, любящие...

— Садитесь на вторую табуретку, — сказал Сергей Сергеевич. — Друг к другу не подходить, если ослушаетесь, прервем свидание. Я оставлю вас наедине, но глазок камеры открыт постоянно, за нарушение будет отвечать Гаврилина — три дня карцера.

И, по-солдатски развернувшись на каблуках, Сергей Сергеевич вышел из камеры...

— Любовь моя, — сказал Исаев и понял, что он ничего не сказал — пропал голос.

— Любовь моя, — повторила Сашенька. — Максимушка, Максим Максимович, нежность вы моя единственная...

Зачем я не умею плакать, горестно подумал Исаев, как счастливы те, кто может дать волю

слезам; от инфаркта чаще всего умирают улыбчивые люди.

— Двадцать лет назад... Я видел в Шанхае сон... Будто я вернулся к тебе, в Москву... И мы едем на пролетке, — прошептал он, откашлявшись.

У Сашеньки задрожал подбородок...

Я оставил ее, повинуясь приказу, пришедшему во Владивосток из этого дома, подумал Исаев. Ей было двадцать тогда... А сейчас? Измученная старенькая женщина... И я не имею права сразу же спрашивать о сыне, я должен что-то сказать ей...

— Ты похудела, любовь, но тебе это очень... Даже не знаю, как сказать... К лицу...

— Максимушка... Я же знаю про себя все... Женщины все про себя знают... Даже если отобрали зеркальце... Я старуха, Максимушка... Глубокая старуха... Вы меня не успокаивайте, вы ж всегда подтрунивали надо мною, вот и сейчас будьте таким... Я вас тоже видела во сне... Это были какие-то кинофильмы, а не сны...

— Ты сказала «отобрали зеркальце», — Исаев осмотрел камеру; сразу же обратил внимание на большую отдушину, понял, что их не только записывают, но и снимают. — Тебя давно арестовали? В чем обвиняют? Говори быстро, потому что могут прервать свидание...

Сашенька покачала головой:

— Мне сказали, что не прервут, дали честное слово... И разрешили отвечать на ваши вопросы... Можно я спрошу, Максимушка?

— Конечно, любовь...

— Вы были верны мне все эти годы?

Ее заставили задать этот вопрос, понял Исаев, до конца ощутив их трагическую, непереступаемую отгороженность друг от друга: дело здесь не в том, что она говорит мне «вы», она и во Владивостоке так говорила, дело в другом, совсем в другом, нам обоим неподвластном.

— Я люблю тебя, — ответил он, неотрывно глядя в ее лицо, словно бы стараясь *снять* морщины, пепельность, отеки, чтобы увидеть прежнюю Сашеньку. — Я всегда любил тебя...

— Но ведь вы живой человек... У вас были женщины?

— Да.

— И они ничего не значили в вашей судьбе? Они не остались в вас?

Зачем она говорит это, подумал Исаев. Нельзя так говорить, это совсем даже и не Сашенька, это не моя Сашенька... Я же никогда не посмею спросить, был ли у нее мужчина. Конечно, был, но ведь любовь, такая, как наша, отмечена иной

печатью, другим смыслом...

— Они оставили рубец в душе, потому что их из-за меня убили, — ответил он и ощутил, что сердце наконец перестало колотиться.

— Вы совсем не изменились... — прошептала Сашенька. — Такой же красивый... Нет, даже еще красивей... Вам так идет седина... Спасибо, что вы сказали правду... Вы всегда были таким чистым человеком... Только чистые люди честны... Помните, на заимке у Тимохи я говорила, что твои... что... ваши читатели режут фамилию «Исаев» под статьями, когда заклеивают газетами окна на зиму... Я ж поняла тогда, кого вы называли «*читателями*».

— Я это чувствовал, любовь... Я был так благодарен тебе за это... Мужчина очень гордится, когда любимая все про него понимает... Ведь понять — это значит простить, нет?

— Понять — это значит любить, Максимушка... Вы не спрашиваете про Санечку... Почему? Не хотите сделать больно?

— Да... Не знаю... За эти годы я приучился ждать, когда сам чело... Фу, как ужасно я говорю... Я растерян, Сашенька... Да, я привык, что люди сами говорят то, что посчитают нужным сказать... Но ведь ты не человек... Ты Сашенька...

— Наш Санечка пропал без вести, — из ее глаз покатились слезы; лицо было прежним, страдальческим, но губы все же таили в себе какое-то умиротворение, появившееся в первое мгновение их встречи. — Санечка пропал в Праге, в последний день войны... Когда выступили власовцы...

— Ты запрашивала командование? Где он был до исчезновения? С кем встречался? Адреса?

— Я писала всем... Я обратилась даже к товарищу Сталину...

— Отвечали?

— Да... «Никакой информацией не располагаем...» Я писала и товарищу Берия... Три раза... Меня пригласили на Кузнецкий мост...

— Куда? — Исаев не понял. — Что это?

— Это приемная Министерства государственной безопасности...

— Ну? — спросил он нетерпеливо и понял, как бестактен он с этим своим требовательным «ну?».

— Мне сказали, — Сашенька замолчала надолго, потом снова заплакала. — Мне сказали, что Санечка ушел с власовцами...

— Это ложь, — отрезал Исаев.

— Я сказала то же самое.

— Мне обещали с ним встречу, любовь... Или

мне врали, или он тоже сидит... Ты давно тут?

— Нет... Меня только что привезли из Бутырок.

— Я спрашиваю, давно ли тебя арестовали?

— Три месяца назад.

Когда я вернулся, сразу же понял Исаев; чуть ли не в тот же день...

— В чем тебя обвиняют?

Из ее глаз еще горше покатились слезы, которые как-то странно молодили морщинистое лицо; безутешность свойственна детству или юности, люди средних лет и старики готовы к потерям, в них нет такого отчаяния, как в малыше или девушке; те еще слишком остро ощущают несправедливость, свою беззащитность и малость, страшное противостояние огромного мира; потом это проходит; утраты меняют людей.

— Сначала пришла похоронка на вас... Потом про нашего Санечку написали... что он пропал без вести... Это очень позорно, вы ведь знаете, как это у нас позорно... А я кинохронику смотрела, бои за Будапешт, бежал наш солдатик, а потом вдруг исчез, прямое попадание мины, облачко, ямка, и ни следа от человека... А матери его: «пропал без вести»... Ни пенсии, ни помощи...

— Саня жив. И он не предатель, — повторил Исаев. — Пожалуйста, верь мне, любовь...

— Вы не называете меня по имени... Почему?

— Потому что у тебя два имени... Одно — Сашенька, а второе — Любовь... В Латинской Америке к женщине обращаются — «Любовь», «Амор»...

— А теперь я вам расскажу правду, ладно?

— Конечно. Тебе разрешили? Тебя не предупреждали, что мне можно говорить, а что нельзя?

Сашенька покачала головой:

— Нет, меня ни о чем не предупреждали...

— Я боюсь, если ты откроешь *всю* правду, свидание прервут...

— Мне сказали, что в вашей власти помочь мне...

— Если я сделаю то, что от меня требуют, тебя выпустят? Тебе это сказали?

— Не выпустят... Нет, в общем-то выпустят... Просто не в лагерь отправят, а сошлют — с правом работы по специальности...

— Ты же поэт, — Исаев наконец смог улыбнуться. — Это не специальность, любовь...

— Я учитель русского языка в начальных классах женской школы, Максимушка...

— Ввели раздельное обучение?

— И формочки... Как у гимназистов...

Не понимая толком зачем, он сказал:

— Очень давно я провел ночь в Харбине с Сашей

Вертинским... Он пел пронзительную песню: «И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт...»

— Я слыхала эту песню... Он часто выступает...

— Где?! В Москве?!

— Конечно, — Сашенька вытерла глаза ладошками. — Он же вернулся... Ему все простили... Он так популярен в Москве...

— Ты увидишь Саню, — повторил Исаев. — Только будь молодцом, ладно?

— Максимушка, вам ничего про меня не говорили?

— Нет.

Сашенька глубоко, прерывисто вздохнула; Максим Максимович чувствовал, как тяжело ей переступить в себе что-то; бедненькая, она хочет мне признаться в том, чего не могло не случиться за четверть века разлуки; он понял, что обязан помочь ей:

— Любовь, что бы ни было с тобою, с кем бы тебя ни сводила жизнь, я буду любить тебя так же, как любил.

И случилось чудо: ее старенькое лицо вдруг озарилось таким счастьем, такой *пасхальной* надеждой, что он наконец смог увидеть прежнюю Сашеньку, ту, которая жила в его памяти

все эти годы.

— Вот сейчас ты стала неотразимо красивой, — сказал Исаев. — Такой, какой жила во мне все время нашей разлуки.

— Максимушка, — голос ее прервался, дрогнул; она резко откинулась, распрямила плечи, ему сразу же передалась ее струнная напряженность. — Любовь, — она улыбнулась через силу, — вы верите мне?

— Как себе...

— Вы верите, что я любила, люблю и буду вас любить и умру с вашим именем в сердце?

— Эта фраза — бумеранг, — Исаев тоже улыбнулся через силу.

— Мы никогда не будем жить вместе, Максимушка... Я сделалась старухой... Вы же сохранили силу и молодость... Вы еще очень молодой, а я больше всего ненавижу принудительность — в чем бы то ни было... Если Господь поможет, мы всегда будем друзьями... Я буду благодарно и счастливо любить вас... Это будет грязно, если я посмею разрешить вам быть подле меня... Вы проклянете жизнь, Максимушка... Она сделается невыносимой для вас... Равенство обязано быть первоосновой отношений... А еще я ненавижу, когда меня жалеют... Так вот, когда мне сказали,

что вы погибли, а Санечка пропал без вести, я рухнула... Я запила. Максимушка... Я сделалась алкоголичкой... Да, да, настоящей алкоголичкой... И меня положили в клинику... И меня спас доктор Гелиович... А когда меня выписали, он переехал ко мне, на Фрунзенскую... Он был прописан у своей тетушки, а забрали его у меня на квартире... Через неделю ко мне пришли с обыском — при аресте обыска не делали, он же не прописан, и ордера не было... Меня попросили отдать все его записи и книги. Я ответила, что вещи его у тетушки, мне отдавать нечего... Меня попросили расписаться на каких-то бумагах, я расписалась, начался обыск, и в матраце, в Санечкиной комнате, нашли записные книжки, доллары, брошюры Троцкого, книгу Джона Рида, «Азбуку коммунизма» Бухарина... И меня арестовали... Как пособницу врага народа... Изменника родины... А вчера следователь сказал, что, если я попрошу вас выполнить то, чего от вас ждет командование, меня вышлют... И я смогу спокойно работать... А несчастного, очень доброго, но совершенно нелюбимого мною Гелиовича не расстреляют, а отправят в лагерь...

— Бедненькая ты моя, — прошептал Исаев, — любовь, Сашенька, нежность...

— И все твои ордена при обыске забрали... Мне же вручили их — орден Ленина и два Красных Знамени...

— Ты что-нибудь подписала на допросах, Сашенька?

Дверь камеры резко отворилась, вбежали два надзирателя, подхватили Сашеньку легко, как пушинку, и вынесли из камеры.

— Ничего не подписывай! — крикнул Исаев. — Слышишь?! Будет хуже! Терпи! Я помогу тебе! Держись!

Сергей Сергеевич, стоявший возле двери, заметил:

— Она в обмороке... Не кричите зазря, все равно не услышит... Ну что, пошли? А то без пшенки останетесь, время баланды...

9

Возле камеры, однако, стоял тот вальяжный, внутренне неподвижный мужчина, что сидел за столом-бюро в приемной Аркадия Аркадьевича.

— Добрый день, Всеволод Владимирович... Генерал приглашает вас пообедать. — Следователю, вытянувшемуся по стойке «смирно», сухо бросил: — Вы свободны.

Когда поднимались в лифте, мужчина поинтересовался:

— Как себя вел следователь сегодня? Никаких бестактностей? Был корректен?

— Вполне... Пережить такое горе...

— Какое горе? — мужчина нахмурился.

— У него отец перенес тяжелый инфаркт... Сейчас стало лучше, вот он и перестал быть таким раздражительно-забывчивым...

— Да, да, — рассеянно согласился мужчина. — Как хорошо, что вы отнеслись к нему снисходительно, отец есть отец...

А у немцев такого прокола не могло произойти, подумал Исаев. Видимо, этот хлыщ не посвящен в подробности игры, иначе он бы посочувствовал

Сергею Сергеевичу — смерть отца, горе... Интересно, напишет он рапорт о нашем разговоре или нет? Если напишет, его уволят, это точно... Любопытно, как он себя поведет, если я скажу ему о проколе? Ты думаешь использовать его, спросил себя Исаев. Напрасно, не выйдет. Он убежден, что служит Идее и что я действительно враг. Сергей Сергеевич во время первого допроса заметил, что сейчас времена другие, зря никого не сажают, ежовщина выкорчевана товарищем Берия по указанию Вождя; без улик и бесспорных доказательств прокуратура ныне не даст санкции на арест... Какие на меня могут быть улики или доказательства? Да и посадили меня, как выясняется, только для того, чтобы включить в *комбинацию* по Валленбергу. В теплоход сунули от растерянности, я ж постоянно твердил: «Скорее берите Мюллера, бога ради, товарищи!» В «Лондоне» мотали на излом, на даче начали настоящую игру... И ни слова о Мюллере... Почему? Если бы меня сразу отвезли домой, я бы пошел на любое задание; мы умнеем в камерах, на воле живем иллюзиями... «Отвезли домой», зло повторил он; квартира опечатана, Сашеньку мучают в Бутырках, принуждая учить то, что она должна мне сказать... Бедненькая моя, нежность... А если

бы ты приехал раньше? И тебя бы не бросили в камеру? И ты бы узнал ее адрес и пришел к ней? И увидел в ее квартире этого самого доктора Гелиовича?

Мой Саня здесь, Исаев оборвал себя; сейчас надо сделать все, чтобы мне его показали. Я должен увидеть его... И потребовать его дело... Иначе я пойду под пулю, но не шевельну пальцем, чтобы помочь им выйти из «сложного положения» со Швецией...

...Иванов на этот раз поднялся из-за стола, вышел ему навстречу, молча пожал руку, кивнул на длинный стол совещаний, где был накрыт скромный обед (бульон с яйцом, котлета с долькой соленого огурца и пюре), снял свой потертый пиджак и сказал:

— Как вы понимаете, я слушал весь ваш разговор с Гаврилиной... Я лишен сантиментов, но сердце у меня прижало, признаюсь... Вы же настаивали на свидании, не я...

— Надеюсь, вы позволите нам увидеться еще раз?

— Позже.

— Это зависит от тех условий, которые вы намерены мне поставить?

— Нет. Давайте кушайте, а то остынет...

Ел Аркадий Аркадьевич сосредоточенно, очень быстро, зато кофе пил смакуя, маленькими глоточками, чуть отставив мизинец; закончив, нажал кнопку под столом; вошел вальяжный мужчина, унес поднос, артистически придержав дверь локтем левой руки так, что она не хлопнула, а мягко притворилась.

Аркадий Аркадьевич поднялся из-за стола, походил по кабинету, потом остановился напротив Исаева и сурово спросил:

— Теперь, видимо, вы захотите узнать все о сыне?

— Да.

— Вы не верите, что он пропал без вести?

— Не верю.

— Правильно делаете... «СМЕРШ» схватил его в Пльзене, когда там еще стояли американцы... Он утверждал, что бросился искать вас... Ему якобы сказал полковник военной разведки Берг, что вас арестовали в середине апреля, а потом, как и всех заключенных, транспортировали в район Альпийского редута... Откуда Берг из военной разведки мог узнать про ваш арест? Вы верите в это?

— Верю. Берг был не прямо, но косвенно связан с участниками заговора против фюрера... Я ж

сообщал... Его могли сломать на этом, завербовав в гестапо... А Мюллер активно *работал* со мной до двадцать восьмого апреля... Он мог вычислить Саню, мальчик был ему выгоден, они умеют... умели ломать отцов и матерей, приставляя пистолет к виску ребенка...

— Вы бы согласились работать на Мюллера, случись такое?

— Не знаю, — ответил Исаев, подумав, что он плохо ответил, снова открылся, прокол. — Скорее всего — нет... Я бы просто сошел с ума... Думаю, если у вас есть дети, с вами случилось бы подобное же...

— Я покажу вам дело сына...

— Этого мало. Я хочу получить с ним свидание.

— Я же сказал: получите. После окончания *работы*.

— Я начну работать только после того, как вы освободите мою же... Александру Гаврилину и сына...

— Вы с Лозовским встречались?

— Кто это? Знакомая фамилия...

— Соломон Лозовский, председатель Профинтерна...

— В семнадцатом встречался... И в двадцать первом тоже, на конгрессе...

— Как думаете, генсек Профинтерна Лозовский — он сейчас депутат Верховного Совета, заместитель товарища Вячеслава Михайловича Молотова — помнит вас?

— Вряд ли...

— А вашего отца?

— Наверняка должен помнить...

Аркадий Аркадьевич снова принялся ходить по своему огромному кабинету, потом взял со стола стопку бумаги, самописку (очень дорогая, сразу же отметил Исаев, «монблан» с золотым пером и тремя золотыми ободками, миллионерский уровень) и положил перед Исаевым.

— Пишите, — сказал он. — Депутату Верховного Совета СССР Лозовскому С. А.

— Я не умею писать под диктовку... Каков смысл письма?

— Вы обращаетесь к представителю высшего органа власти страны с просьбой о помиловании Гаврилиной и вашего сына...

— В качестве кого я обращаюсь к Лозовскому?

— Подписываетесь Штирлицем... Этот псевдоним, думаю, был известен высшему руководству наркомата, тьфу, министерства иностранных дел...

— «Заключенный Штирлиц»? — спросил Исаев.

— Или «штандартенфюрер»?

Иванов рассмеялся:

— Я сам поеду с этим заявлением к Соломону Абрамовичу... И покажу вам его визу — какой бы она ни была... Второе письмо напишите товарищу Кузнецову Алексею Александровичу, секретарю ЦК ВКП(б), он теперь курирует органы, попросите его о переводе вас на *дачу* в связи с началом операции по шведу...

— Второе письмо я напишу после того, как вы покажете мне резолюцию Лозовского.

— Хорошо, не пишите про шведа, — досадливо поморщился Аркадий Аркадьевич. — Посетуйте на несправедливость в отношении вас и попросите, указав на работу против Карла Вольфа в Швейцарии, перевести на *дачу*... Напишите, что идет завершающий этап *проверки*, вы убеждены в предстоящей реабилитации, сдают нервы, одиночка — не курорт... С этим письмом поедет заместитель товарища Абакумова. Возможно, все дальнейшие встречи с Александрой Гаврилиной и свидание с сыном мы проведем на даче... Я ничего не обещаю, я говорю предположительно, не обольщайтесь...

Эти его слова и позволили Исаеву взять перо и лист бумаги...

...Спрятав заявления, Аркадий Аркадьевич отошел к своему столу, снял трубку телефона и коротко бросил:

— Введите.

...Привели штурмбанфюрера Риббе. Глаза его были по-прежнему совершенно пусты, лицо пепельное, прозрачное, с очень большими ушами; Исаеву даже показалось, что отечные мочки трясутся при каждом шаге.

Рат, сопровождавший Риббе, улыбнулся Исаеву, как доброму знакомому.

— Спросите его, — сказал Рату Аркадий Аркадьевич, — что он может показать о деятельности Валленберга в Будапеште...

— В конце ноября сорок четвертого года, — начал рапортовать Риббе, — Эйхман поручил мне провести встречу с Валленбергом на конспиративной квартире и обговорить формы связи в Стокгольме, если произойдет трагедия и рейх рухнет. Сначала я возражал Эйхману, говорил, что нельзя произносить такие слова, однако Эйхман заверил меня, что фраза согласована с группенфюрером Мюллером, некая форма проверки агента... Нам надо, пояснил Эйхман, проверить реакцию Валленберга, и это я поручаю вам... Во время конспиративной встречи Валленберг сказал, что

он гарантирует безопасность нашим людям... Переправит их в Латинскую Америку, если мы выполним его просьбу и освободим тех евреев, список которых он передал ранее «его другу» Эйхману... Вот в общих чертах та единственная встреча, которую я имел с Валленбергом...

— Вы видели его вербовочное обязательство работать на РСХА? — спросил Аркадий Аркадьевич.

Рат перевел, Исаев отметил, что он допустил ошибку, ерундовую, конечно, но тем не менее двоякотолкуемую: вместо «обязательство» сказал «обещание»; в разведке не «обещают», а «работают».

— Нет, — ответил Риббе, — все эти документы Эйхман хранил в своем сейфе...

— Каким образом Эйхман исчез? — спросил Аркадий Аркадьевич.

— Говорили, что он пробрался во Фленсбург, а оттуда — в Данию...

— Вы хотите сказать, что он стремился попасть в Швецию?

— Бесспорно. Все остальные партийные товари... коллеги, — быстро, с испугом поправился Риббе, — стремились на юг, к швейцарской гра-

нице, чтобы уходить по линии ОДЕССа[1] в Италию, а оттуда — в Испанию...

Аркадий Аркадьевич неожиданно обернулся к Исаеву и быстро спросил на ужасном немецком:

— Штирлиц, это правда?

— Да, — ответил Максим Максимович и сразу же пожалел об этом, надо было просто кивнуть; его уже, хоть в самой малости, в едином слове «да», втянули в *комбинацию*...

— Вас вывозили через Италию, Штирлиц? — продолжая коверкать немецкий, уточнил Аркадий Аркадьевич.

Исаев колебался лишь одно мгновение, потом ответил по-русски:

— Да, товарищ генерал...

Риббе никак не прореагировал на то, что он заговорил по-русски, *отсутствовал*; Иванов и Рат многозначительно переглянулись, и, хотя это было лишь одно мгновение, Исаев точно засек выражение их острых, напряженных глаз.

— Спасибо, Риббе, — мягко сказал Аркадий Аркадьевич. — Можете сегодня отдыхать, завтра вам увеличат прогулку до часа...

---

1 Примечания: 1

ОДЕССа — секретная организация нацистов по переправке ответственных сотрудников партии и СС в Испанию и Латинскую Америку после краха рейха.

Рат чуть тронул Риббе, тот, словно автомат, повернулся и зашагал к двери, вытянув руки по швам, словно шел на параде...

— Ну как? — спросил Иванов. — Вы ему поверили? Или врет?

— Видимо, вы даете ему какие-то препараты, Аркадий Аркадьевич... Он производит впечатление больного человека... Он малоубедителен... Как Ван дер Люббе...

— Кто? — не понял тот.

— Ван дер Люббе, свидетель гитлеровского обвинения в процессе против Георгия Димитрова...

— Я отдам сотрудника под суд, — тихо, с яростью сказал Аркадий Аркадьевич, — если узнаю, что он применяет недозволенные методы ведения следствия...

Сейчас лучше промолчать, сказал себе Исаев; он должен отдать под суд Сергея Сергеевича, который держал меня на стуле по сорок часов без движения, да еще лампа выжигала глаза...

...Дверь внезапно открылась; вошел невысокого роста человек; Аркадий Аркадьевич замер, подобрался, лицо его резко изменилось, сделалось подобострастным, внимающим...

— Здравия желаю, товарищ Мальков! — отрапортовал он. — Разрешите продолжать работу?

Или прикажете отправить заключенного в камеру?

— Нет, нет, продолжайте, — ответил Мальков. — Если не будете возражать, я посижу, послушаю, не обращайте на меня внимания...

...Мальков устроился на стуле с подлокотниками в углу кабинета, возле окна, так, чтобы лица не было видно заключенному, — солнце обтекало его толстое, женственное тело, лицо с коротенькими усами и бородкой-эспаньолкой, в то время как слепящие лучи делали землистое лицо Исаева со впавшими щеками, выпершими скулами и морщинистым лбом четким, как фотография.

— Итак, Всеволод Владимирович, — Иванов заговорил иначе, сдержаннее, даже голос изменился, чуть сел, — по указанию руководства я выполнил две ваши просьбы, что дает вам основание верить, что и последняя, третья, будет выполнена, тем более вы обратились к товарищу Кузнецову и товарищу Лозовскому, другу вашего покойного отца... Могу ли я в присутствии товарища Малькова задать вопрос: вы готовы помочь нам распутать шведский узел?

— Я уже ответил: до тех пор, пока я не увижу сына, все разговоры бессмысленны.

— Разумно ли ставить ультиматум?

Аркадий Аркадьевич отошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета, с видимым трудом открыл тяжелую бронированную дверь, достал папку с грифом «совершенно секретно, хранить вечно», предложил:

— Полистайте.

Исаев машинально похлопал себя по карманам:

— Очки-то вы у меня изъяли...

— Вернем, — пообещал Аркадий Аркадьевич и протянул Исаеву свои — маленькие, круглые, в коричневой целлулоидной оправе.

Он дал мне дело Сани, понял Исаев; это — пик нашего противостояния, я должен приготовиться к схватке, я не имею права ее проиграть, грош тебе цена, если ты проиграешь; ты выиграешь ее, потому что ты устал жить, тебе стало это неинтересно после теплохода «Куйбышев», «Лондона» и одиночки; тебе *пусто* жить после встречи с изломанной Сашенькой, которая невольно выполняет их задания, откуда ей, бедненькой тростиночке, знать *наши* хитрости... Ты виноват в том, что погубил ее жизнь, ты виноват в том, что твой мальчик сидит в камере; если виноват — искупай вину, принимай бой; смерть — избавление, я мечтаю о ней, но они, эти двое, — люди иной структуры,

и то, что они не понимают моей жажды искупления вины, дает мне простор для маневра... Нет, сказал он себе, не торопясь открывать папку, ты виноват не только в том, что погубил самых близких, *единственных*, ты еще виноват в том, что предал друзей — тех, с кем начинал... Ты предал память Дзержинского, согласившись с тем, что все его помощники — Кедров, Трифонов, Сыроежкин, Уншлихт — «шпионы»; Революцию, разрешив себе смириться с тем, что друзья Ленина оказались «врагами и диверсантами», ты кругом виноват, и то, что ты выкрал Мюллера, закончив этим свою *личную* борьбу с нацизмом, не снимает с тебя вины... Ладно, *сказал* он себе, это — прошлое, сейчас ты готов к бою, открывай страницу...

Сначала он увидел изможденное лицо Сани, бритого наголо, в профиль и анфас, отпечатки его пальцев, понял, что папку *готовили*, потому что не было дат, перевернул следующую страницу, собственноручные показания сына: «Виновным в предъявленных обвинениях не признаю, прошу разрешения обратиться к великому вождю советского народа генералиссимусу Сталину». Затем увидел протокол вербовки сына пражским гестапо — 19 апреля 1945 года; затем шли пять его

донесений о работе чешского подполья с адресами, явками, паролями вплоть до 26 апреля, затем была подшита справка гестапо: «По информации агента Шмель арестован руководитель Пражского городского комитета коммунистов Ян, он же Йозеф Смрковский...»

Стоп! Смрковский был арестован перед моей поездкой в Линц! О такого рода *победах* нам в РСХА сообщали, значит, мне суют липу...

— Дело в том, что указание завербоваться к нацистам дал сыну я, — Исаев поднял глаза на Малькова, словно бы Аркадия Аркадьевича не было рядом с ним. — Он был денщиком полковника военной разведки Берга, связь с РСХА была ему необходима как прикрытие...

— Значит, вы дали ему право предавать гитлеровцам товарища Смрковского, члена ЦК братской партии? — спросил Аркадий Аркадьевич. — Я не могу в это поверить...

Исаев папку захлопнул, брезгливо ее отодвинул от себя:

— Вы не учитываете меру моей информированности... Я знал, когда взяли Смрковского и кто руководил операцией по его захвату... Вы забыли, что я был не кем-то, а штандартенфюрером СС... Если вы намерены так же *работать* процесс

против Валленберга, вас ждет мировой скандал...

Аркадий Аркадьевич взял папку, запер ее в сейф, сел за стол, за свое рабочее место, потер ладонями лицо и бесстрастно поинтересовался:

— Вас надо понимать так, что вы отказываетесь помочь нам?

— Повторяю: до тех пор, пока я не получу встречи с сыном, пока он и Александра Гаврилина не будут освобождены, я палец о палец не ударю.

И тут заговорил Мальков:

— Я хочу отметить ряд ваших ошибок, Аркадий Аркадьевич... Во-первых, вы просили Исаева помочь *нам*... Это неверно... Речь идет о помощи Родине, большевистской партии, советским людям, которые до сих пор живут в Белоруссии и на Смоленщине в землянках, а денег, чтобы построить им дома, можно просить лишь у шведов... Во-вторых, вы употребили слово «ультиматум» вместо того, чтобы назвать вещи своими именами: «наглость»... В-третьих, мы не вернем очки Исаеву, как вы пообещали, до тех пор, пока он не начнет *работать*... Если же он не начнет работу по Валленбергу и не заявит об этом сейчас, немедля, в моем присутствии, я попрошу дать мне те материалы на него, которые у вас есть... Они подобраны? Или вы все это время играли с

ним в вашу обычную христову доброту?

— Мы не подбирали документы, — откашлявшись, ответил Аркадий Аркадьевич. — Я был убежден в партийной дисциплине Исаева, как-никак старый чекист...

— Если он старый чекист и вы убеждены в его партийной дисциплине, какое вы имеете право держать человека в камере?! — Мальков даже пристукнул пухлой ладонью по ручке кресла. — Вы обязаны извиниться перед ним, уплатить ему компенсацию и выдать квартиру... Почему вы не сделали этого?! Отчего нарушаете Конституцию?! Кто дал вам право на произвол?!

— Товарищ Мальков, разрешите до... — начал было Аркадий Аркадьевич сдавленным, тихим голосом...

— А что вы мне можете доложить? — так же бесстрастно, но прессово-давяще продолжал Мальков. — Что?!

Аркадий Аркадьевич снова открыл сейф, делал он это теперь кряхтяще, с натугой, достал несколько маленьких папочек и, мягко ступая, чуть ли не на цыпочках, подошел к Малькову:

— Это неоформленные эпизоды...

Не скрывая раздражения, Мальков начал листать папки, одну уронил; Аркадий Аркадьевич

стремительно поднял ее; первым порывом — Исаев заметил это — было положить ее на колени Малькова, но колени были женственные, округлые, папка не удержится, соскользнет, конфуз, *руководство* еще больше разгневается, решил держать в руках...

Не поднимая глаз от папок, Мальков спросил:

— В Югославии, в сорок первом, ваш псевдоним был Юстас?

Исаев снял очки, положил их на стол, потер лицо, разглядывая стены кабинета, — Маркс, Сталин, Берия; на вопрос, обращенный в пустоту, не ответил.

— Я вас спрашиваю или нет?! — Мальков повысил голос и поднял глаза на Исаева.

— Простите, но я не понял, к кому вы обращались, — ответил Исаев. — У меня пока еще есть имя... Имена, точнее говоря... Да, в Югославии я выполнял задания командования также под псевдонимом Юстас.

Мальков зачитал:

— «Единственно реальной силой в настоящее время является товарищ Тито (Броз), пользующийся непререкаемым авторитетом среди коммунистов и леворадикальной интеллигенции...» Это вы писали?

— Да.

— Настаиваете на этом и сейчас?

— Конечно.

Мальков протянул вторую папку Аркадию Аркадьевичу:

— Дайте ему на опознание подпись... Если опознает, пусть подтвердит.

Аркадий Аркадьевич быстро подошел к Исаеву, положил перед ним папку, в которой была сделана прорезь, вмещавшая в себя немецкую подпись — «Штирлиц».

— Ваша? Или фальсификация?

— Моя.

— Удостоверьте русской подписью.

— Сначала я должен посмотреть, какой текст я подписывал.

— При чем здесь текст? Речь идет о подлинности вашей подписи.

— Я ничего не подпишу, не посмотрев текста...

Аркадий Аркадьевич открыл папку: подпись была на чистом листе бумаги.

Исаев перечеркнул подпись, расписался заново и приписал «подпись верна, полковник Исаев», поставил дату и место — «МГБ СССР».

Как только Аркадий Аркадьевич отошел от Исаева, Мальков поднял над головою третью папку:

— «Обязуюсь по возвращении в СССР работать на английскую разведку с целью освещения деятельности МГБ СССР. Полковник Исаев (Юстас)». Что это такое?! Чья подпись? Чья бумага?! Английская бумага и ваша подпись!

— Вам же прекрасно известно, что это фальсификация Рата, так называемого Макгрегора, — ответил Исаев. — Я не очень понимаю, зачем вам обставляться фальшивками? Никто не знает, что я вернулся, шлепнете без фальшивок — и концы в воду...

Мальков ответил с яростью:

— Тогда нам придется шлепать и вашу бабу! Вы же хотели с ней повидаться?! Помните немецкую пословицу: «Что знают двое, то знает и свинья»?! А какие у нас есть основания ее расстреливать?! Нет и не было! Тянет на ссылку!.. А сейчас придется выбивать решение на ее расстрел! — Он обернулся к Аркадию Аркадьевичу. — Все душеспасительные разговоры с ним кончать! Или в течение недели выбейте из него то, что надо, или готовьте материалы на Особое совещание, я проведу нужный приговор...

И, резко поднявшись с кресла, Мальков пошел к двери; Аркадий Аркадьевич семенил следом, всем своим видом давая понять малость свою,

растерянность и вину.

Обежав Малькова, Аркадий Аркадьевич распахнул дверь, и тут Исаев громко сказал:

— Деканозов, стойте!

Реакция Деканозова, называющего себя Мальковым, была поразительной: он присел, словно заяц, выскочивший на стрелка.

— Выслушайте, что я вам скажу, — требовательно рубил Исаев. — И поручите так называемому Аркадию Аркадьевичу выключить микрофоны — для вашей же пользы: работая с Шелленбергом, я прослушивал часть ваших бесед с Герингом и Риббентропом, а также с Ниночкой...

Деканозов медленно выпрямился и коротко бросил Аркадию Аркадьевичу:

— В подвал, расстрелять немедленно, дело оформите потом, — и снова открыл дверь.

Исаев рассмеялся — искренне, без наигрыша:

— Мой расстрел означает и ваш расстрел, Деканозов, потому что моя одиссея, все то, что я знал, хранится в банке и будет опубликована, если я исчезну окончательно... Сядьте напротив меня, я вам кое-что расскажу — про Ниночку тоже...

— Молчать! — Деканозов сорвался на крик; кричать, видно, не умел, привык к тому, чтобы окружающие слышали его шепот, не то что слово.

— Выбейте из него, — сказал он заметно побледневшему Аркадию Аркадьевичу, — все, что он знает! Где хранится его одиссея?! Принесите ее мне на стол. Срок — две недели, — и он снова распахнул дверь.

— Деканозов, — усмехнулся Максим Максимович, — возможно, вы выбьете из меня все, я не знаю, как пытают в том здании, где не осталось ни одного, кто начал работать в семнадцатом. Заранее обговорено, что рукопись вернут только в руки, в Лос-Анджелесе, один на один. И если мои друзья не получат моего приглашения — они, кстати, стали и *нашими* друзьями, ибо поверили мне, — и не проведут месяц у меня в гостях, в *моем* доме, — они опубликуют то, что я им доверил. Ключ от моего сейфа в банке у них, отдадут они его только мне — в присутствии адвоката и нотариуса... Моя подпись на любом письме, если вы заставите меня его написать, будет сигналом к началу их *работы*... Хотите, чтобы я процитировал отрывок из вашей беседы с Герингом, которому вы передавали устное послание Сталина? Вы не учли, с кем имеете дело, Деканозов... Меня послали на смерть — к нацистам... И я уже умер, работая в их аппарате... Но там я научился так страховаться, как вам и не снилось... Вы

ломали честных и наивных людей... А меня национальный социализм Гитлера научил быть змеем, просчитывать все возможности... Я не думал, что мне придется применять этот навык у *своих*... Отныне я не считаю вас своими... Я вас считаю партнерами... А теперь можете идти, я сказал то, что считал необходимым...

— Поднимите его к Комурову, — растерянно сказал Деканозов, отвернувшись от Аркадия Аркадьевича. — Я буду там...

На лесоповале во время пятиминутного перекура подполковник авиации Розин Иван Онуфриевич, кавалер двух орденов Ленина, Отечественной войны (второй степени) и Красной Звезды, ныне зэк 14-846-к, осужденный решением Особого совещания на двадцать пять лет каторги за «каэровскую деятельность» (вернувшись из родной деревни Климовичи, сказал друзьям, что в стране идет истребление крестьянства, наместники из областей обрекают людей на голодную смерть), собрал взносы с членов партии; на первом закрытом партсобрании уговорились платить по рублю из той зарплаты, которую стали давать тем, кто выполняет норму; до пятнадцати рублей в месяц (самые низкооплачиваемые негры и пуэрториканцы получали за час работы

на стройке полтора доллара; американские коммунисты боролись против этого бесчеловечного выкачивания пота и крови из рабов капитала).

Собирая взносы, Розин шептал каждому: «Полетел Маленков. Начинается новый этап драки за власть. Передать каждому из руководителей пятерок: быть в состоянии боевой готовности номер один. Как только из Москвы поступят новые сведения, начинаем. Прошу всех большевиков провести репетицию первого этапа восстания: каждый должен точно знать свое место возле конвоиров, когда начнем их разоружать... Передайте Скрипко, чтобы он, когда будет перегонять трактор в Усть-Вимский лагерь, связался с капитаном Темушкиным. Мы пойдем на соединение с его группами...»

И, отойдя к конвоиру, Розин протянул ему кисет:

— Вчера из дома посылку получил... Самодер... Угощайся, браток... Только газеты нету... Не поделишься на добрую козью ногу?

...Поздним вечером — в концлагерях поднимали в четыре утра, отбой давали в десять тридцать — собрал трехминутное совещание подпольного *парткома* ВКП(б). Распределили обязанности; в том, что ситуация на Большой земле способство-

вала скорейшему вооруженному выступлению заключенных-ленинцев против кровавой сталинской диктатуры, уверены были все.

10

Член Политбюро Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, маршал, Герой Советского Союза, заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР, депутат Верховных Советов СССР и РСФСР, многолетний шеф госбезопасности товарищ Берия Лаврентий Павлович испытывал к Сталину все более и более растущую ненависть — особенно после того, как Маленков (под нажимом Жданова) был отправлен в Ташкент и Берия остался один на один с «бандой» — так он называл членов ПБ.

Он ненавидел его так, как ненавидят выживших из ума стариков, которых, тем не менее, по законам мегрельской деревни полагается почитать *уважаемыми*, оказывать им прилюдный почет, не прерывать, когда они несут чушь, и постоянно славить, превознося их ум и заслуги.

Берия понимал, что Сталин, поставивший под пули своих выдвиженцев Ягоду и Ежова, рано или поздно расплатится им, *носителем* его тайн, без колебаний и жалости.

Он понял это давно, еще в тридцать девятом,

когда Сталин, назначив его наркомом, не кооптировал при этом в Политбюро.

Он тогда сразу же просчитал возможные последствия: очередной «исполнитель» срочно переориентировал работу НКВД, организовал убийство Троцкого, Кривицкого, Рейсса, перенес *акценты* на таинство закордонной службы, провел ряд показательных процессов над ежовскими садистами, реабилитировал несколько десятков тысяч коммунистов, обеспечив себе ореол «либерала и законника». Несколько успокоился, когда началась война, ибо стал членом ГКО, легендарного Государственного Комитета Обороны, — теперь уже наравне с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым, Вознесенским, Микояном и Косыгиным; почувствовал звездный час, когда стал членом Политбюро. Сдружился с Егором (так звал Маленкова), их альянс — могучая сила. Но, после того как Сталин выступил в феврале сорок шестого перед избирателями и ничего не сказал о торжестве коммунизма, но лишь о величии Державы, Берия понял: грядет кардинальный поворот политики, невозможный без большой крови. Тогда-то и сообразил: спасение и *жизнь* лишь в том, если он возьмет на себя проект по созданию атомной бомбы (после

Потсдама Сталин бредил ею) и аккуратно отойдет от прямого руководства МГБ.

Однако чем дальше, тем больше он ощущал, что его позиции пошатнулись, ибо верх брал прагматик Вознесенский, переведенный Сталиным из кандидатов в члены Политбюро, несмотря на те меры, которые в свое время были приняты им, Маленковым, Ворошиловым и Сусловым; взлет Вознесенского прошел не без влияния Жданова, ясное дело. И сейчас секретарь ЦК Кузнецов, взявший отделы Маленкова, стал, таким образом, *курировать* Берия. Что ж, операция против Берия начата, его дни сочтены, если дать Жданову и Вознесенскому прибрать к рукам власть. Значит, предстоит борьба. А что в этой жизни дается без борьбы?! Или смерть, или победа, третьего не существует.

...Как-то Деканозов рассказывал, что фюрер стал фанатичным антисемитом, когда ему сказали, что доктор Блох, еврей по национальности, лечивший его мать от рака, применял не те медикаменты... Сначала Берия пропустил это мимо ушей, ждал *гостью*, очаровательную девушку, порученец Саркисов увидел ее на улице Алексея Толстого; *новеньких* Берия обожал, хотя сохранял самые дружеские отношения со всеми своими

подругами, даже если переставал спать с ними...

Он еще не понял, отчего ночью, проснувшись резко, словно кто-то толкнул его в плечо, вспомнил рассказ «долбаря» (так в узком кругу называли Деканозова после того, как он, пригласив молоденькую стенографистку, запер дверь кабинета, снял брюки и показал ей член: «Маленькая, я хочу, чтобы нам стало сладко». Девушка, однако, оказалась строгих правил и крутого характера: выбросила в окно брюки заместителя министра иностранных дел; скандал замяли, отправив девицу в посольство в Монголию; на границе арестовали — везла «контрабанду», сунули в сумочку две тысячи рублей). Берия тогда не сразу уснул, так и не поняв, отчего вспомнил рассказ Деканозова о еврейском враче Блохе, но мыслью довольно часто к нему возвращался...

...Начиная с марта семнадцатого, когда стали жечь полицейские околотки и здания охранных отделений, в нем, Лаврентии Берия, постоянно жил затаенный страх: а что, если в архивах остались *следы* его встреч с *теми*, кто вел с ним затаенные беседы о его, Лаврентия, друзьях по подпольному кружку «социал-демократов»: о Гоглидзе (теперь начальник ГУЛАГа, Главного управления лагерей, все секретари сибирских и

дальневосточных обкомов и крайкомов — под ним, в кулаке), Севе Меркулове (был куратором разведки, умница, эрудит, без него и помощника Петра Шария не выходил ни один документ *наркома*, ни один его доклад; сейчас оттерт в ГУСИМЗ[2]), Мирджафаре Багирове (назначен вождем азербайджанских большевиков — с его, Берия, подачи). Одна надежда была на то, что *бумаги* сгорели, но до двадцать второго года, до той поры, пока он не стал зампредом АзЧК и не получил в свои руки архивы, он страдал бессонницей — в его-то возрасте, всего двадцать два, ровесник века!

Несколько документов, обнаруженных им в папках особого отдела охранки, потрясли его. Сначала он решил сжечь их, но потом передумал, уехал за город, шофера и охранника оставил в машине, пошел погулять в лес: «Хочу послушать пение птиц, устал». Там-то, в лесу, отвалил камень и запрятал резиновый пакет — никто не найдет, спецсообщения охранки были не о нем, про себя он все сжег; рапорты были о другом человеке, датировались девятым и двенадцатым годами.

---

2 Примечания: 2

Главное управление советского имущества за границей.

Шофера и охранника поручил устранить своему помощнику по оперработе; через час после того, как *задание* было выполнено, организовал стол и лично *сыпанул* в бокал помощничку; хоронили торжественно, с оркестром и залпами красноармейцев над свежей могилой, — концы в воду...

Зимой двадцать четвертого к нему в Тбилиси позвонил Сталин и предупредил, что он, Берия, новый председатель ГрузЧК, головой отвечает за безопасность и *времяпрепровождение* Льва Давыдовича, лечившегося в Сухуми: «Ни на шаг не отпускать, голову снимем, если что, — сами знаете, как еще сильны меньшевики в Закавказье, докладывать каждый день...»

Он докладывал — по телефону. Он понимал, чего ждет от него Сталин, но официальные рапорты подписывал его заместитель: еще не ясно было, куда повернется дело, — с армией шутки плохи, а Лев Давыдович — наркомвоенмор, Троцкий есть Троцкий, признанный вождь Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Но после того, как Зиновьев и Каменев в двадцать пятом году выступили против Сталина, объявив на Четырнадцатом съезде, что он не может руководить штабом партии, а Троцкий

промолчал, не поддержал, отдав их, таким образом, на заклание Кобе и Бухарину, после того, как *леваки* потеряли свои позиции в ЦК, Берия до конца убедился: время колебаний кончилось, ставка сделана окончательно.

Поэтому, когда в Тбилиси приехал Каменев, оставшийся еще членом ЦК, Берия устроил роскошный стол (был искренне потрясен прекрасным грузинским, на котором говорил Каменев, — родился-то здесь, воспитывался среди грузин), поднимал тосты за друга Ильича, возглавившего Институт Маркса — Ленина, и редактора собрания сочинений незабвенного вождя.

Назавтра подвел к нему двух осведомителей, те легко *разговорили* Льва Борисовича, мнения своего о Сталине он не скрывал, подчеркивал свою дружбу с Мдивани и Махарадзе, врагами Кобы; этот материал Берия сам отвез Сталину и вручил.

...С затаенным восхищением Берия наблюдал за тем, как на Политбюро Вознесенский — единственный из всех спокойно и уверенно возражал Сталину, спорил с ним, оперируя цифрами и фактами. Старец с нескрываемой любовью смотрел на *профессора*, соглашался с ним, конечно же, не всегда, но явно выделял его своим уважительным

вниманием; однажды, в отсутствие Вознесенского, заметил: «Надо подумать, не дать ли ему Сталинскую премию за его брошюру о военной экономике... Хотя она отнюдь не бесспорна, но человек хорошо поработал, сам написал — не помощники...»

Если он — единственный из членов ПБ — получит премию, трудно предугадать, что может произойти в дальнейшем, тем более Кузнецов и Вознесенский — ленинградцы, одна шайка-лейка.

Вознесенский и Кузнецов и, конечно, Жданов должны уйти — в этом спасение. Но эту операцию должен провести другой человек, нужна комбинация; на мне нет ни одного политического процесса в стране, и я не намерен их на себя брать, я лишь убрал Троцкого и Кривицкого. Старцу это нравилось, обожает интригу, а разведка — это *долгая* интрига, комбинация может развиваться годами, а то и десятилетиями...

Берия понимал: если компрометирующие материалы на соперников будут подобраны, если придет время для *операции*, следствием которой будут арест, пытки, суд и расстрел, все это захотят взвалить на него. Но Вознесенский и Кузнецов не признаются в шпионстве, их не обманешь,

как Пятакова и Рыкова, не сломишь, как Радека и Раковского, не уговоришь, как Ягоду и Буланова... Они прекрасно понимают, что никакое признание не сохранит им жизнь; лучше уж погибнуть, как Постышев, Эйхе или Чубарь, — безмолвно, хоть публичного позора не будет, зато *вопросы* в народе останутся, а любой вопрос рано или поздно родит ответ, нет ничего безответного в этом мире.

Именно поэтому Берия дважды встречался с Ждановым — один раз приехал к нему на дачу, другой раз — в ЦК, аккуратно подбросил, что курировать атомный проект и органы не под силу ему, надо выдвигать молодых. Не он, а Суслов назвал Виктора Абакумова — прекрасный работник, хорошо показал себя во время войны, беспредельно предан товарищу Сталину, русский, из бедняцкой семьи, чем не нарком?

Зашел Берия и к Кузнецову (по протоколу ежемесячно заходил к секретарю ЦК, несмотря на то что был членом Политбюро; традиция родилась при Сталине, когда он сформировал свой Секретариат, — на смену Крестинскому и Серебрякову привел Молотова, тот, в свою очередь, подобрал людей по себе; и Зиновьев, приезжавший из Питера, и Рыков с Каменевым считали своим

долгом заглянуть к секретарю ЦК — средостение всей текущей работы; с тех пор и пошло), попили чайку с сухариками, Берия поднял тот же вопрос: «Атомный проект забирает все время, надо двигать на Лубянку крепкого человека, кандидатуры у меня нет, назвал бы Гоглидзе или Багирова, но, думаю, целесообразнее назначить русского, нельзя не считаться с настроением великого народа, кровью заслужившего право на главенство в стране...»

Берия знал, что удар, нанесенный Ждановым по Ахматовой и Зощенко, был прелюдией к широкой кампании против интеллектуалов; как обычно, Сталин порекомендовал сначала ударить по русским: «Наши все снесут, не страшно, зато развяжем себе руки в главном». Он тщательно калькулировал возможную реакцию западных друзей, поэтому атаку начинал исподволь, загодя выстраивая линию защиты: «Виноват Жданов, его идея».

Судя по тому, как Сталин после победы правых в Израиле раздраженно бросил ему: «Посмотрите-ка внимательно, чем занимается наш Еврейский антифашистский комитет, народу надоел бесконечный плач израилев», Берия понял, что пришло время готовить компрометирующие

материалы на руководителей комитета — Лозовского, Михоэлса, писателей Переца Маркиша и Фефера. Значит — новый процесс?

Нет, он не намерен так просто терять ту репутацию, которую наработал в тридцать девятом.

...За день перед тем, как Сталин назначил его заместителем Ежова, — тот уже был отстранен, в наркомате не появлялся, — им был отдан *неподписной* приказ «*почистить*» ежовские подвалы; всю ночь шли расстрелы большевиков, которые вынесли пытки, ни в чем не признавшись; надо уничтожить всех, кто был связан с Орджоникидзе, Постышевым, Эйхе, Косиором, Чубарем; как-никак члены Политбюро; никаких следов оставлять нельзя — совет Сталина.

Когда наутро Берия доложили, что приказ выполнен, расстреляно восемь тысяч заключенных, он тяжко вздохнул:

— Было сказано «почистить»! Это значит — выпустить людей, а не бесчинствовать! Сейчас же расстрелять всех расстрельщиков, это не люди — исчадия ада...

...Когда в июле сорок первого из Белоруссии привезли командарма Павлова, Берия проговорил с ним всю ночь, благодарил за помощь, которую тот оказывал чекистам с лета тридцать

седьмого, обещал защитить его перед товарищем Сталиным; приказ на расстрел подписал не он, а высшее руководство, он лишь подготовил документы.

В сорок четвертом, когда сын наркома авиационной промышленности Шахурина застрелил на лестнице Каменного моста дочку посла Уманского, *аппарат* начал *дуть* дело: вышли на детей Микояна, арестовали, младшему только исполнилось шестнадцать. Берия затаенно ждал, не повалится ли Микоян, как-никак именно Серго и он, ветераны, давали санкцию на его, Берия, вступление в грузинскую партию меньшевиков — естественно, для «нелегальной работы»; Серго, к счастью, нет, а Микоян мог начать копать его прошлое, опасен. Сталин, однако, Микояна не тронул; Берия после заседания ПБ шепнул: «Не волнуйся, Анастас, я позабочусь о мальчиках, они будут хорошо устроены, все обойдется, ты держался мужественно».

...А сейчас — он ощущал это кожей — безумный Старец снова захотел кровавых игрищ, и, если он, Берия, по-прежнему будет шефом Лубянки, следом за этими спектаклями наступит его черед.

Но почему Сталин не убрал Вышинского после процессов, спрашивал себя Берия. Почему, наобо-

рот, он его поднял? Потому, ответил он себе, что Вышинский работал с *трупами*, которые заранее выучивали ответы на его вопросы, а учить эти сумасшедшие ответы их заставляли Ягода и Ежов.

Он вспомнил, как Меркулов, приехав к нему на дачу с докладом, во время прогулки — это было в тридцать девятом — предложил запустить в народ термин «ежовщина»... Через пять дней его люди *обмолвились* в Большом театре после «Кармен», которую пела Верочка Давыдова, назавтра по Москве *поползло*; ничто так стремительно не распространяется, как слухи, особенно в том обществе, которое лишено информации...

Ежову противопоставляли его, Берия: истинный преемник Дзержинского, ученик Вождя, как при нем спокойно дышится в стране, никаких нарушений закона...

Генерал Рычагов, посмевший грубить Сталину на ПБ в сорок первом, сам обрек себя на пулю; командарма Штерна можно было бы спасти, отрекись он от Блюхера... Но ведь Мерецкова, Рокоссовского и Ванникова спас я, Берия! Армия этого не забудет!

На мне нет процессов, повторил себе Берия, и не должно быть. Пусть это делают другие, а я дам приказ пристрелить их в камере, как Ежова, когда

тот метался, падая на колени, а в него всаживали пулю за пулей те два человека, которых назвал Сталин поименно: управделами ЦК Крупин и Панюшкин.

...Когда Виктор Абакумов сел в его кабинет, Берия на Лубянке больше не появлялся, работал в Кремле, однако «шарашки» оставил за собой; часто ездил туда, подолгу беседовал с одним из руководителей «Красной капеллы» Шандором Радо, с Туполевым; пил вместе с ними кофе, по-товарищески обсуждал не только текущую работу, но и международные дела; «шарашники» принимали все «голоса», заглушки не было — специфика их научной работы того требовала; с интересом рассматривал Сергея Королева — неуемная фантазия; Сталина посвящать в его идеи нельзя, рано, Старец помнил это имя, слишком рьяно хлопотали Гризодубова и Громов, именно они вытащили его из камеры смертников; если бы не преклонение Сталина перед прославленными летчиками — шлепнули б этого нового Циолковского в одночасье...

...Пусть себе Абакумов работает, пусть ощутит себя хозяином в лавке, все равно каждый шаг нового министра подконтролен: глубинные операции готовят его, Берия, люди, ему, Абакумову,

докладывают только то, что он, Берия, санкционирует.

...И вот сейчас перед ним сидят растерянные Деканозов и Комуров, хотя всячески эту свою растерянность стараются скрыть, а он, Берия, понимает, что случилось нечто чрезвычайное, из ряда вон выходящее, неторопливо читает документы, хотя и не видит букв, а просчитывает партитуру предстоящего разговора; он не может не просчитать любой поворот разговора, потому что Деканозов как-никак сидел с Молотовым дверь в дверь. Да, через год-два Молотов потеряет свои позиции, *план* операции разработан, Жемчужина, его жена, станет субъектом еврейской комбинации, выдержка и еще раз выдержка... Деканозов, хоть и предан ему, опасен тем еще, что начал свою политическую жизнь как брат одного из лидеров боевиков армянского «Дашнакцутюн»; оружием делился с Литвиновым и через него — с Камо и Кобой. Старец благоволит к нему, до сих пор называет так, как писали о брате в сводках охранки, — «Деканози»... Проклятье какое-то, никому нельзя верить, никому и ни при каких обстоятельствах...

...Отложив наконец красные и синие папки, Берия снял пенсне, потер веки, улыбнулся визи-

терам своей неожиданной чарующей улыбкой и спросил:

— Что стряслось?

Деканозов и Комуров переглянулись: видимо, так и не решили, кто будет докладывать.

— Разрешите, начну я, Лаврентий Павлович, — несколько растерянно сказал Деканозов. — Богдан дополнит и поправит, если я в чем не прав.

— Давайте, слушаю...

— Вы, конечно, помните «девятого»? Он же Юстас? Работал в Берлине, у Шелленберга...

Берия ответил не сразу, ибо допускал мысль, что Абакумов мог всадить и к нему в кабинет прослушку — по просьбе Старика, конечно же, ведь он, Берия, ставил «жучки» у Молотова, Кагановича, Жданова, Ворошилова — деспот хотел знать, о чем его гвардия говорит дома, в кабинете, на даче, почему бы сейчас не послушать и его, Берия?

— Нет, — ответил *маршал*, хотя вроде бы ему что-то рассказывал Меркулов, особенно нажимая на то, что отец полковника ЧК был членом меньшевистского центрального комитета. Берия тогда поинтересовался его судьбою: когда посажен? Меркулов ответил, что старший Владимиров погиб в двадцать первом от белобандитов, активную работу в партии прекратил еще в феврале

восемнадцатого, был вполне лоялен, судя по сохранившимся документам.

— А кто эти документы готовил? — задумчиво спросил тогда Берия. — Какие-нибудь Александровичи, Уншлихты или Кедровы с Бокиями? Вы его вызовите сюда, этого Юстаса, пусть на него поглядят, дома человек лучше виден, чем за кордоном...

Именно тогда Исаеву и была отправлена шифровка с просьбой вернуться, но связь с ним оборвалась, восстановилась только во время югославского кризиса, в апреле сорок первого. Вызывать его не стали, ибо Берия уже тогда точно знал, что Гитлер начнет войну именно двадцать второго июня, информация была абсолютной, но повторить это Хозяину было безумием, тот впадал в ярость, мог бросить в камеру, уничтожить...

— Вы помните, Лаврентий Павлович, — тихо сказал Комуров. — Мы по вашему указанию готовили на него вхождение на звание Героя за срыв переговоров в Швейцарии между Даллесом и немцами...

— А почему вы, собственно, явились ко мне, а не пошли с этим вопросом к Абакумову? — Берия сыграл удивление. — Я сейчас позвоню к нему, проведите совещание, а потом, если решите

посоветоваться, приезжайте втроем, зачем игнорировать наркома?

Деканозов, видимо, понял те мотивы, которые вынуждали Берия вести себя именно так.

— Поскольку Абакумов, — сказал он, — в ту пору, когда работал Штирлиц, занимался «СМЕРШем», мы не хотим ставить наркома в неловкое положение...

Комуров, однако, гнул свое:

— Виктор не ориентируется в этой ситуации, Лаврентий Павлович... А если поймет, то может повернуть дело не туда, куда следует.

Берия резко поднялся из-за стола:

— Ты свои интриги брось! Что это за батумские штучки?! Одно дело делаете!

Спрятав папки в сейф, вызвал Саркисова:

— Позвони на дачу, пусть накроют стол на троих, голова разваливается, хоть часок воздухом подышу, — и пошел к двери, бросив Деканозову и Комурову: — Едем, я вам там мозги прочищу, интриганы...

Только в машине, отделившись от шофера и охранника толстым стеклом, Берия сказал:

— Ну, выкладывайте...

— Инициатором ареста этого самого Исаева был я, Лаврентий Павлович, — сказал Деканозов.

— Богдан лишь подписал ордер... Дело в том, что он может оказаться ключевой фигурой в деле Валленберга, а вы знаете, как Иосиф Виссарионович относится к этому дурацкому инциденту...

— Это не дурацкий инцидент, — возразил Комуров. — Мы были готовы отдать Валленберга шведам, но Абакумов лично вывез его из Будапешта в Москву и начал мять, выбивая признание, что тот работал на гестапо... Ну и домял — мы его с трудом отходили...

— Что у вас есть на Исаева? — спросил Берия.

— Обращение к Кузнецову и Лозовскому, — ответил Деканозов. — То есть связь с врагами... С будущими врагами народа... Это первое. Признание, что он является сторонником Тито, — два... Остальное довольно топорно сработал Влодимирский, он теперь, — Деканозов усмехнулся, — «Аркадий Аркадьевич»... Есть признание, что встречался с Троцким, называл его «вождем РККА»... Курит фимиам Тито... Есть обязательство «работать на англичан», подобраны апрельские шифровки из Берлина, чтобы мы переводили деньги на его имя в Парагвай...

Берия досадливо перебил Деканозова:

— Если мне не изменяет память, Меркулов считал это игрой...

Комуров вздохнул:

— Кстати, он еще там, в Южной Америке, в нашем посольстве стал просить, чтобы мы немедленно забрали Мюллера, давал координаты... Но ведь сидят-то на местах анкетные дуболомы, что для них Мюллер?

— Кто назначил этих людей? — спросил Берия заинтересованно.

— Мы, Наркоминдел, — ответил Деканозов. — Но виза Абакумова есть.

— Подготовьте мне записку, — сказал Берия.

...На даче и в своем особняке на улице Качалова Берия не опасался подслушки (вернее, не в такой мере, чтобы *неперступаемо* избегать рискованных разговоров); поскольку приглашал к себе Курчатова, реабилитированного Ландау, Микулина, других ученых, он ввел в личную охрану *своего* инженера, который контролировал возможность проникновения «вражеских технических спецслужб»; абакумовские «жучки» обнаружили бы неминуемо; в Кремле такого рода профилактика была недопустима — хотя Сталин давно уже не жил здесь, перебравшись на Ближнюю дачу, но работать приезжал сюда — немедленно б настучали...

Сев за стол, Берия, тем не менее, машиналь-

но включил приемник и разговор продолжил, потому что в голове его что-то зрело, тяжело, сумрачно ворочаясь, словно жернова гигантской мельницы прилаживались друг к другу...

Валленберг интересовал его в такой же мере, как и Сталина; Швеция до сих пор поднимала вопрос о своем выкраденном дипломате; зимой сорок пятого посол в Стокгольме Александра Коллонтай да и сам Деканозов заверили шведские власти, что Валленберг находится в Будапеште под охраной советских войск; как только кончатся уличные бои, его отправят домой, нет никаких оснований для беспокойства.

Однако Абакумов вывез Валленберга в Москву; швед действительно ничего не знал, кроме того, что переговоры с нацистами о спасении обреченных узников концлагерей ведут и американцы в Швейцарии.

Абакумов навалился на Валленберга со всей яростью, на какую был способен, несчастный оказался в госпитале, шведы продолжали требовать ответа от Москвы, к Сталину обратился министр иностранных дел Трюгве Ли, который должен был стать генеральным секретарем Объединенных Наций.

— Что со шведом? — раздраженно спросил

Сталин, вызвав Берия. — Почему Коллонтай признала, что он у нас? Он действительно здесь? Если был гестаповским агентом — выведите на процесс, пригласите прессу, найдите свидетелей, не мне вас учить...

Но вскоре разразился очередной кризис в Берлине, не до шведа; потом Берия аккуратно *отошел* от Лубянки, а сейчас — в связи с делом этого банкира — Исаев обещает опубликовать книгу о беседах Деканозова с Герингом и Риббентропом... Деканозов его человек, сидел у Молотова в конечном-то счете как связник; значит, если книга действительно выйдет, будет нанесен удар по нему, Берия, потому что он — прямо или опосредованно — руководил работой аппарата, когда этот чертов Штирлиц был в рейхе, единственный внедренный в РСХА...

— Ну хорошо, — выслушав гостей, задумчиво произнес Берия, — а что, собственно, он мог знать о нас, кроме девок Деканозова и его бесед с Герингом? Что нам Геринг? Отвергнем, и все тут! Фальсификация истории, провокация господ империалистов! На девок и вовсе отвечать не будем, грязные сплетни. Что он мог знать еще?

— Он мог знать все об операции по устранению Лейбы, — сказал Комуров.

Берия нахмурился, не сразу его поняв, потом усмехнулся:

— Троцкого, что ль? Лейба... Во сколько миллионов стал нам этот Лейба... Ну написал Лейба книгу о Хозяине — гнусную, клеветническую, напечатали ее, а каков результат? Пшик! Ноль! Умные люди даже обернули ее в нашу пользу: «Смертельный враг диктатора пишет о нем с уважением...»

— Он может знать и наверняка знает о наших *деловых* подходах к Гитлеру начиная с тридцать пятого, — сказал Деканозов.

— Вы имеете в виду Дадиани?

— Да...

— Что еще?

— Секретные протоколы, подписанные Молотовым и Риббентропом, уничтожение нашей агентурной цепи в Германии, приказ о прекращении работы по национал-социализму... — Деканозов вздохнул. — Он знает много, Лаврентий Павлович... Он пересекался с Орловым, который исчез из Испании и которого мы не можем найти... Орлов знал такое, от чего волосы встанут дыбом, открой он это...

— Так заставьте этого Исаева рассказать, что он написал! — Берия не мог скрыть раздражения.

— Что, разучились работать?!

— Он не развалится, — убежденно сказал Комуров. — Вариант Постышева.

— А фармакология зачем?! — Берия принялся за жареного поросенка. — Возьмите показания, выкупите его рукопись, неужели трудно составить план и решить его? Денег не пожалеем, деньги решают все.

— Лаврентий Павлович, тут особый случай, — снова возразил Деканозов. — По словам Исаева, рукопись в сейфе, в Лос-Анджелесе... Его друзья и адвокаты имеют право отдать папку только ему и лишь в Америке...

— А если он блефует? — спросил Берия. — Вы такое допускаете?

— А если его книгу все же напечатают?

Берия усмехнулся:

— Боитесь, расскажет о ваших берлинских девках? За такое Хозяин действительно спустит шкуру...

— Но ведь представление на меня, как на посла в рейхе, писал не Молотов, а вы...

Берия неторопливо доел поросенка, отставил тарелку и, тщательно вытерев руки туго накрахмаленной салфеткой, негромко заметил:

— Товарищ заместитель министра иностран-

ных дел, а ведь у порядочных людей это называется шантажом. — И, перейдя на крик, рубанул: — А ну, вон из-за стола, мамацгали! Прочь отсюда!

Деканозов медленно поднялся, вышел из-за стола и, согбенный, приниженный, покинул комнату.

— Что ты предлагаешь? — Берия обернулся к Комурову.

— У нас его жена и сын. Вернее, не то чтобы жена — мать его сына, так точней... Но она старуха, с ней перестарались... И с сыном тоже, парень свернул с ума... А этот Владимиров отказывается работать с Валленбергом, если мы не дадим ему свидания с сыном...

— Он русский?

— Да.

— А если отпустить его бабу и придурка?

— Во-первых, он не поверит... Во-вторых, судя по его словам, он должен периодически приглашать американцев, чтобы они не опубликовали его вещь...

— Да ну и пусть! — взъярился Берия. — Плевать мы хотели!

Комуров покачал головой:

— Первые недели он сидел у нас на даче и диктовал о своей работе, Лаврентий Павлович... У

него такие *выходы*, которых нет и не было ни у кого из наших... То, *как* он описал убийство Рэма и Штрассера, — всего в паре абзацев, — целиком проецируется на дело Кирова... И это он писал не в камере, а на даче, ожидая, когда мы «подготовим» семью к встрече... Я взял с собою расшифровку, — Комуров вышел в холл, достал из папки рукопись, отдал Берия. — Он был знаком с Каменевым, Бухариным, Крестинским; Дзержинский действительно подписывал на него приказы, и — самое неприятное — мы нашли представление Дзержинского на Красное Знамя этому Владимирову-Исаеву... И Указ ВЦИКа... Мы нашли это только вчера...

— Поезжай на хозяйство, — сказал Берия. — Рукопись я погляжу... Деканози скажи, что приму через неделю, но чтобы он не входил ко мне, а вползал на пузе... Исаева посади к Валленбергу...

— Стоит ли?

— А что? Плох швед?

— Да.

— Но голова варит?

— Даже слишком.

— Замечательно. Пиши не то что каждое их слово, а даже вздох. В воскресенье буду готов к разговору, — и Берия показал глазами на папку

Максима Максимовича.

...В Кремль Берия не вернулся: не мог оторваться от *работы* Исаева; закончил в пять утра, долго ходил по своему сосновому бору, досадливо махнув Саркисову и двум охранникам, чтобы шли прочь, — постоянно маячили за ними затаенными тенями.

«А ведь только один человек, дай ему пистолет в руки, пустит пулю в лоб Старца, — очень медленно, пугаясь самого себя, Берия произнес эти страшные слова и снова оглянулся, не сорвалось ли с языка. — Вот оно, избавление от безумного деспота! Вот какую комбинацию бы разыграть! Вот бы что *сунуть* Абакумову!»

Ах, Егор, Егор! Как же не хватает тебя, Маленков! Один я, один...

Тогда-то он и сказал себе: «Исаева к такому делу надо готовить впрок, а вот если я не верну в Москву Маленкова, — в самое ближайшее время, — моя карьера кончена, Старец сделался полным психом, настроение меняется пять раз на день, ужас...»

11

Назавтра Исаева перевели в другую камеру; не успели надзиратели закрыть дверь (что-то сразу удивило в том, какой была эта камера), как стремительная, словно выстрел, догадка отторгла удивление: перед ним был изможденный, посеревший, лимоннолицый Рауль Валленберг.

Он стоял под оконцем, едва пропускавшим свет, прислонившись к стене так, словно хотел вжаться в нее, исчезнуть, и неотрывно смотрел на двух надзирателей: в глазах у него был ужас, сменившийся тяжелой ненавистью.

Только оторвавшись от лица Валленберга, Максим Максимович понял, что его удивило: стены и даже дверь были обиты войлоком; койки — деревянные, шаткие; видимо, узник пытался разбить голову о стену, понял Исаев, несчастный парень...

— Здравствуйте, — сказал он по-русски.

Валленберг молча кивнул.

— Русский еще не выучили?

Валленберг непонимающе пожал плечами, внимательно вглядываясь в лицо Исаева; потом

спросил по-немецки:

— Мы не могли с вами где-то встречаться?

Исаев ответил по-английски:

— Мы встречались... То ли в вашем берлинском посольстве, то ли на Вильгельмштрассе, в министерстве иностранных дел, у Вайцзеккера... И, пожалуйста, не говорите со мной о вашем деле, я не отвечу ни на один ваш вопрос и не дам ни единого совета: каждое наше слово записывается...

Валленберг усмехнулся:

— Я знаю... Мне подсаживали многих... Только они... Сначала я вообще ничего не понимал, теперь — знаю что к чему... Вы отказываетесь говорить со мною вообще? Или найдем какую-то нейтральную тему?

— Нейтральную тему найдем... По вашему усмотрению...

— Последние семь месяцев я сижу один... Начал беседовать с самим собою... Первый шаг в шизофрению...

— Отнюдь... Каждый человек постоянно говорит сам с собою... Неважно — про себя или вслух...

— Думаете, я еще не стал пациентом дома умалишенных?

— Я не психиатр, господин Валленберг...

— Вы не представились... Как мне к вам обращаться?

— Называйте меня сокамерник. Так будет лучше — в первую очередь для вас... «Мистер сокамерник» — прекрасное словосочетание...

Заметив книгу, лежавшую на койке Валленберга, удивился:

— А мне отказали в праве пользования библиотекой... Вы — счастливчик...

— Это Библия... Прекрасное издание, странный дар главного следователя, это ведь здесь запрещенная литература.

— Позвольте взглянуть?

— Конечно... Вы шотландец или англичанин?

Исаев сухо ответил:

— Я сокамерник... Мы же уговорились... Ладно? Вам днем лежать разрешают?

— В последнее время — да... Раньше я *стоял*... Вы давно здесь?

Исаев взял Библию, лег на свою койку, начал листать страницы; сразу же обратил внимание на то, как кто-то отчеркивал на полях ногтем целые фрагменты.

В дверь забарабанили:

— Заключенный номер сорок, вам днем лежать запрещено!

Исаев, словно бы не поняв надзирателя, вопросительно посмотрел на Валленберга, по-прежнему стоявшего у «намордникового» окна; тот пожал плечами:

— Мне такое кричали первые полтора года... По-моему, требуют, чтобы вы поднялись...

— Вы же не знаете русского...

— Это не обязательно... Вам объяснят иначе...

— Лежать запрещено! — повторил надзиратель. — Ясно?! За нарушение режима отправим в карцер!

— Вас в карцер сажали? — поинтересовался Исаев.

Валленберг ответил с усмешкой:

— Здесь в карцеры *ставят*, сокамерник... Это шкаф, повторяющий человеческое тело; на вторые сутки вы теряете сознание... Стакан воды и ломоть хлеба в день... Мой дядя так мечтал похудеть... Ограничивал себя в еде, два часа в день скакал на моем Пауле, невероятно сноровистый жеребец, плавал, двухчасовой массаж — ничего не помогало бедняге... Ему бы три дня карцера, прекрасная метода для похудания...

«Дурачок, — сострадающе подумал Исаев, — зачем ты даешь столько подробностей тем, кто тебя слушает? Жеребец Пауль — сладкая подроб-

ность, ее могут использовать через пару-тройку месяцев, когда ты забудешь о том, что сам назвал своего жеребца, тебя эти подробности могут ошеломить, — как узнали?! — тут-то тебя и начнут колоть вопросами...»

Исаев притулился к стене; как прекрасно, что обито войлоком, в спину не вползает могильный холод. Нежданный подарок, подумал он, странно, отчего мне не разрешено лежать? В моей камере это не возбранялось; видимо, *игра* уже началась — из меня делают жертву, подчеркивая блага, разрешенные Валленбергу. Ну-ну, пусть себе... Они *играют*, и мы поиграем...

Исаев снова начал листать страницы, обращая внимание на следы ногтя; я так гадал, вспомнил он, нет ничего надежнее, чем гадание на Библии, великая книга, каждая строка таит в себе многосмыслие...

— Ваши пометки? — спросил Исаев, кивнув на открытую наугад страницу.

— Мои легкие... Я отчеркивал мизинцем, другие, резкие, — генерала Власова, он неплохо понимал немецкий...

— Встречались?

— День в камере и три раза на очной ставке.

Исаев заметил глубокий, резкий ноготь в «Кни-

ге Пророка Иезекииля»:

> «Сын человеческий! Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими... Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими... И Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их... И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: «они — народ Господа и вышли из земли Его...» И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел...»

Резкое отчеркивание Власова обрывалось именно здесь; следом шел аккуратный, едва заметный мизинец; Исаев невольно посмотрел на руки, бессильно висевшие вдоль тела Валленберга: длинные, тонкие пальцы, синеватые ногти, как у всех страдающих малокровием, достаточно ровно подстриженные (неужели ему дают ножницы? Нет, наверное, обкусывает, как и я, только у него это получается лучше; впрочем, понятно: он сидит уж не первый год, опыт — дело нажив-

ное, научусь и я, если не шлепнут в ближайшие недели).

Валленберг подчеркнул те абзацы, которые шли всего через несколько строк после того, что яростно вмял Власов:

> «Когда явлю на вас святость Мою... возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу... и окроплю вас чистою водою — и вы очиститесь от всех скверн ваших, и ото всех идолов ваших очищу вас... И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом».

Исаев начал листать дальше, ощущая неведомую ему ранее радость от чтения этой *рваной*, но при этом литой, единой прозы.

И снова резкое отчеркивание Власова из «Левита»:

> «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними; ибо Я Господь, Бог ваш... Если вы будете посту-

пать по уставам Моим... Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои... Если же не послушаете Меня... вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города разрушены... Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их... и падут, когда никто не преследует... И не будет у вас силы противостоять врагам вашим... И погибнете между народами и пожрет вас земля врагов ваших».

Как бы в пику ногтю Власова — мизинец Валленберга:

«И тогда как они будут в земле врагов их, — Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Бог их... Вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом».

Исаев поднял глаза на Валленберга:
— Молчаливые диалоги.

Тот кивнул.

— Поглядите Псалтырь... Пятьдесят девятый псалом...

Исаев закрыл на мгновение глаза, потер веки, прочитал на память:

— «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины...» Вы это имели в виду?

Валленберг не мог скрыть восхищенного изумления:

— Знаете, все, кого ко мне подсаживали, сразу же начинали рассказывать о себе и спрашивать совета, как поступить... Потом начинали интересоваться мною... Изощренная постепенность. Вы — совершенно новое качество, интересно... Кстати, в этом же псалме заложено все «Откровение» Иоанна: «Ты потряс землю, *разбил* ее... Исцели повреждения ее, ибо она колеблется...» Но, прежде чем заглянете в «Откровение», вернитесь в «Иезекииль», по-моему, тридцать шестая глава...

— Смотрел...

— Вас заинтересовали подчеркивания *по-середине*, я следил за вашими глазами... А вы посмотрите начало... Не ищите, я прочитаю вслух, вы меня ошеломили своей догадливой памятью, извольте изумиться моей, — Валленберг кашлянул, и Максим Максимович увидел в его глазах

открытость; раньше ее не было — напряженная сосредоточенность.

— «...За то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, — начал Валленберг, — чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, — за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога... Я поднял руку Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». Разве подобное не случилось с Германией? Я ведь именно поэтому и начал свою работу в...

Исаев резко прервал его:

— Мы же уговорились! Никаких бесед о наших с вами *работах*...

Валленберг пожал плечами:

— А мы, кстати, только и делаем, что говорим о моей работе... Следование заветам Библии — вот моя работа...

— Вы более всего оперируете Ветхим Заветом, — заметил Исаев. — Как быть с Новым?

— Его исказили переписчики начала тысячелетия, — уверенно ответил Валленберг. — Тогда уже зрела неоформившаяся, зыбкая идея Святой Инквизиции... Но и в Новом Завете я готов оперировать словами Апостола Павла: «Спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак! Ибо и я,

израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал...»

Исаев нашел это место в Послании Апостола Павла Римлянам, прочитал стремительно, вбирающе, *разом*; только особо нужные ему места он перечитывал неделями, чтобы остались навсегда в памяти.

С Валленбергом можно спорить, подумал он; именно с ним, не с Павлом; Апостол — это уже политика, а не великая проза; поэтому зачитал:

— «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога; существующие же от Бога власти установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение...» Не кажется ли вам, что это не ошибка переписчиков, но включение экономических рычагов власти, начало борьбы за первенство?

— В какой-то мере вы правы, — кивнул Валленберг, — но следующая фраза возвращает нас к истине Божьей: «Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых...» Разве это оправдание зла? Политика таит в себе оправдание любого злодеяния, примат силы постоянен, особенно, — он вздохнул, — при наличии хорошего пропа-

гандистского аппарата...

— И да и нет, — ответил Исаев, медленно перелистывая Библию. — Смотрите, вот вам Пророк Малахия, последние строки Ветхого Завета: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф...» Заметьте себе, это Ветхий Завет. И речь идет не о духе, но о *пище*...

— Тогда цитируйте дальше, — возразил Валленберг. — «Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: «чт`о мы говорим против Тебя?» Вы говорите: „тщетно служение Богу, и чт`о пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются Целы“». Разве это политика?

— Это бунт, — сказал Исаев. — Заключительный аккорд той политики, которая завела общество в тупик... Безвыходность, убитые надежды — дрож-

жи бунта... Или революции, если проецировать Святое писание на последние столетия, начиная с Конституции Северо-Американских Штатов, кончая русской революцией. Точнее говоря, *революциями*...

— То есть? — Валленберг не понял. — Почему множественное число?

— Потому что их было за четверть века четыре: девятьсот пятый год, февраль, октябрь... Это революции естественные, некие термодинамические *взрывы* общества... Была и революция *сверху*, двадцать девятый год, — геноцид против самых талантливых и работящих подданных, проведенный самим правительством. Ужасающий феномен, меньшинство уничтожает большинство, превращая страну в пустыню. Что же касается политики, то все Святые Благовествования — политические манифесты... Блистательная проза — верно; прозрение — да; проповедь нравственности — бесспорно, но политика присутствует в них, ибо видна тенденция... Матфей еще пытался примирить Ветхий Завет с новыми временами, он еще мог начинать с фразы: «Родословная Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его...» И ведь не кто-нибудь,

по Матфею, а именно Ангел Господень сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их». И только после этого появляется Иоанн, который крестит Иисуса...

— Верно, — Валленберг ответил не сразу. — Святой Марк вообще начинает не с Иисуса, а с Иоанна Крестителя... Интересно... Я это как-то пропустил, потому что растворился в строках, шел за Словом, не позволяя себе обсуждать его...

Исаев подумал: «Хоть какое-то оправдание и для меня; я шел за *изменениями* в нашей истории, растворяя себя в них... Значит, наша Идея превратилась в религию? Так, что ли? Учитывая образование Сталина, можно допустить и такой поворот сюжета...»

— А вспомните «Благовестие от Иоанна»? — предложил Исаев.

Валленберг отошел наконец от стены, сел на свою койку и, закрыв глаза, продекламировал:

— «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков... Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн... И вот свидетельство

Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников... спросить его: кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос... Я глас вопиющего в пустыне... И они спросили его: чт`о же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас *некто*, Которого вы не знаете...» На другой день Иоанн видит Иисуса и говорит: «...Зри агнец Божий, Который берет на *Себя* грех мира»...»

Исаев, следивший по тексту за той концепцией, которую Валленберг *выбирал* из Иоанна, отложил Библию и, презирая себя, хрустнул пальцами — ничего не мог поделать с собою, этот *звук* в одиночке сделался необходимым ему, словно бы свидетельствующим то, что он жив и что звон курантов не мерещится ему, а есть явь...

— Вы действительно плывете за строками, — сказал он, — вы блестяще декламируете, ни в одной церкви я не слыхал такого наполнения фраз Священного писания человеческим Духом, Верой, стоической убежденностью... Но вы все же позволяете увлекать себя потоку — пусть даже гениальному... Глядите-ка, Иоанн ни слова не говорит о предках Иисуса, во-первых, и, во-вторых, называет его тем, кто примет на себя

«*грех мира*»... О народе или народах нет ни слова, речь идет о *мире*... Это — начало притирки светских властей с верой, ставшей необходимой человечеству, ибо владыки не знали, где найти выход из постоянных кризисных ситуаций. Позже, в послании Павла Колоссянам, он уже требует: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу...» Не отсюда ли надо отсчитывать идею монополии на единственную правду? Не в этом ли пассаже сокрыт будущий запрет на диспут, соревнование разных точек зрения, на *мысль*, наконец?! Разве Павел свободен от политики, когда он обращается к пастве со словами: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога...»

— Вы католик? — спросил Валленберг. Исаев долго молчал, ответил грустно:

— До недавнего времени я искал в Библии ответы на вопросы истории, политики и экономики... Да, да, это так... По-моему, кстати, Власов отмечал для себя пассажи, примирявшие идеологию, которую он исповедовал в рейхе, с определенными фразами Великой Книги... У меня отобрали очки,

руки устают держать книгу в метре от глаз, трясутся... У вас зрение хорошее?

— Левый глаз теперь совсем не видит, — ответил Валленберг сухо. — Уже полгода... Полная потеря зрения... Правый — абсолютен... Читаю без очков... Стараюсь заучить всю Библию наизусть — кто знает, что меня ждет через мгновение?

Исаев вспомнил пастора Шлага, его лицо, маленькую, не по росту, кацавеечку, вспомнил, как старик неловко шагал на лыжах по весеннему снегу, перебираясь в Швейцарию, на *связь* с его, Штирлица, Центром, вспомнил, как тот бранил француженку Эдит Пиаф: «Какое падение нравов, это не музыка, только Бах вечен»; почувствовал, как кровь прилила к щекам (неужели я сейчас покраснел?); заново услыхал запись разговора Шлага с *его*, Штирлица, провокатором Клаусом, когда пастор недоумевающе, с обидой в голосе, спрашивал: «Разве можно проецировать прекрасную библейскую притчу на национал-социалистическое государство? Это подобно тому, как логарифмической линейкой забивать гвозди»; представил себе лицо провокатора, который ликующе-позволительно издевался: «А что же вы, пастырь божий, молчите, когда вокруг вас творится зло, когда нацисты жгут невинных в

печах?! Где ваша Христова правда?!» Эти видения пронеслись у него перед глазами, и он вдруг почувствовал себя в своем доме под Бабельсбергом, даже запахи ощутил — каминного дымка, жареного кофе и сухой кёльнской воды в ванной комнате.

Неужели это было, спросил он себя. Неужели ты действительно был таким, каким *был*? Неужели ты тогда жил без сомнений и тягостных раздумий о судьбе твоей страны, о трагедии, которая на нее обрушилась?

Да, ответил он себе, я жил тогда именно так, я был весь в борьбе, а если ты убежден в том, что обязан сделать все, чтобы уничтожить нацизм, ты не имел права на сомнения, война исключает любую форму сомнений, долг становится самодовлеющей формулой духа... Ой ли? Ведь так отвечал Гудериан в Нюрнберге... Да, но Гитлер никого, кроме группы Рэма и Штрассера, не расстрелял, он не убивал *своих*; пара тысяч — не в счет; *дал* убить Гейдриха, убедившись в том, что он не *свой* — в жилах течет еврейская кровь деда... А в Испании? Я и тогда ни в чем не сомневался? Да, я гнал сомнения, потому что видел франкизм как «советник РСХА» изнутри, во всем его ужасе... Но ты ведь знал, что наши дрались против

троцкистских бригад ПОУМ, которые стояли насмерть против фашистов и сражались отменно, до последнего патрона? Ты что, не читал сводок Франко о том, как яростно сражались троцкисты? Не видел, как они гордо держались на допросах и шли на расстрел с криками: «Да здравствует коммунизм! Да здравствует Четвертый Интернационал! Смерть фашизму! Но пасаран!»

Ох, не надо, не надо об этом, взмолился он и неожиданно для себя впервые в жизни услыхал в себе мольбу: «Господи, прости меня, прости!» И, моля прощения себе, он видел лица Сашеньки и Саньки, Гриши Сыроежкина, Станислава Уншлихта, Михаила Кедрова, Гриши Беленького, Артура Артузова, Яна Берзиня... А Лев Борисович? А Бухарин? Кольцов? Радек? Крестинский?

— Вы себя дурно чувствуете? — спросил Валленберг.

— Нет, отнюдь...

— Очень побледнели...

— Бывает, — ответил Исаев. — Пройдет... Как это в Притчах? «Не говори: «я отплачу за зло»: предоставь Господу, и он сохранит тебя...»

Валленберг несколько раз быстро глянул на Исаева:

— Вам легче, по ушам вижу... Они у вас какое-то

мгновение были желтыми, сейчас стали нормальными, отпустило?

— Да.

— Поэтому я вам отвечу другой притчей: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?»

Исаев снова почувствовал, как похолодели пальцы и замолотило сердце:

— Не помните, на какой это странице?

— Или в двадцать третьей, или в двадцать пятой главе, страницу не помню, у меня «поглавная метода»...

Исаев отставил книгу от глаз еще дальше, чтобы не так сливались, подрагивая, строки, нашел притчу номер одиннадцать. Следом было напечатано: «Скажешь ли: «вот, мы не знали этого?» А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его...»

Вслушиваясь в прекрасную музыку *слов*, Исаев спросил себя: «Но почему же американская революция сражалась против англо-французских колонизаторов вместе с церковью? Священники там были подвижниками идеи «свободы и равенства», а французы, громя Бастилию, гонялись за аббатами с веревками, распевая песни Беранже

про то, что последнего короля надо повесить вместе с последним попом... Отчего в пятом году наши люди шли за Гапоном? А в семнадцатом восстали против церкви так же яростно, как и против самодержавия? Только ли потому, что Бурцев разоблачил Гапона, которого завербовала охранка? Или оттого, что наша церковь, ее пастыри всегда шли с властью рука об руку? И звали к повиновению даже тогда, когда здравый смысл подсказывал: зовите паству к противостоянию государевой неправде, которая влечет страну в пропасть. Ведь если бы церковь объединилась с Гучковым, Путиловым, Милюковым, Родзянко, февральского взрыва могло б и не быть... А они поддерживали малограмотных фанатиков «великорусской идеи»... Если бы не женщины, выстоявшие три дня в пуржистых очередях за хлебом, пошли в центр города, а мудрые и *независимые* священники повели за собою паству, кто знает, как бы повернулась история?!»

12

Виктор Абакумов, министр государственной безопасности СССР, карьеру сделал головокружительную, как и все те, на кого *поставили* за год до начала Большого Террора аппаратчики Маленкова.

Казалось бы, его восхождение было случайным, вне логики и здравого смысла.

Однако же так могло показаться лишь тем, кто не знал Сталина, а его по-настоящему не знал никто.

Порою и сам Сталин во время тяжкой бессонницы поражался себе и тем словам, которые произносил днем: каждому находил свои, единственно нужные, спроецированные в Историю; иногда он ломал собеседника, порою подстраивался к нему, очаровывая; изредка готовился загодя, писал черновики, особенно когда встречался с писателями, зная, что это уйдет в Память — будущее Евангелие от Иосифа; с людьми академической науки встреч избегал, понимая свою неподготовленность, зато часто приглашал авиаконструкторов — практики, живут реальностью,

а не таинством формул.

Он благодарил судьбу за то, что получил теологическое образование: ничто так не логично и бесстрашно, как школа трактовки слов и мыслей, заложенных в догматах церкви. Действительно, наука после поражения Святой инквизиции теснила религию по всем направлениям, опровергала святые изначалия, доказав вращение Земли вокруг Солнца, навязав человечеству электричество, выдвинув теорию тяготения, а затем — относительности, подняв человека в небо и научившись передавать голос на расстояние в тысячи километров. Надо было *обойти* все эти новшества, ранее караемые смертью фанатичными инквизиторами; необходимо было придумать объяснения случившемуся, сложить легенды о чудесном Прошлом; русские люди сказки любят, поменять бы только Иванушку-Дурачка на Ивана-Умницу, как можно было разрешить такое самоуничижение?! Надо уметь породить в пастве сомнения во всем новом, подчинив себе этих простолюдинов, а ведь их — тьма; мыслителей — единицы; примат массы очевиден...

Сталин не смел признаться себе в том, что главной задачей его жизни было умерщвление ленинской Памяти, подмена Значимостей и, на-

конец, создание Державы, послушной лишь его Мысли и Слову.

Он не смел признаться себе и в том, что относился к русскому народу с отстраненной, сострадательной жалостью, долей зависти и некоторым презрением.

Поддавшись в свое время блеску и напору Бухарина, утверждавшего, что принуждение на производстве и в селе малорезультативно, успеха в деле прогресса достигают лишь инициативные, сытые и свободные люди, Сталин, изучая статистические таблицы, приготовленные Молотовым и Кагановичем специально для него, видел, что справный «бухаринский» мужик и городской кооператор все более выходят из-под контроля отделов, секторов и управлений, делаясь независимой *производящей* силой. Пройдет пара лет, и они, кооператоры, нэпманы и мужики, реально ощутят свою общественную значимость, поскольку именно они подняли страну из голода и разрухи, а это гибельно для аппарата диктатуры; столь же гибельно и то, что рабочие, трудящиеся на концессионных предприятиях, на фабриках и в мастерских, построенных на принципах ленинской новой экономической политики, зарабатывали значительно больше, чем заводской

пролетариат, подчиненный наркоматам; пошли разговоры — «власть не умеет править, обюрократилась, прав был Троцкий...».

Сталин поручил Мехлису и Товстухе, своему мозговому штабу, перелопатить Ленина, сосредоточившись на одном лишь вопросе — кадровом.

Выдернул одну фразу Старика из его письма Цюрупе: «Главное — подбор кадров», слова «все наши планы — говно» вычеркнул; он, Пророк, не позволит низвести Ульянова до уровня простого человека; и так Ленин слишком часто *снисходил*. Сейчас новое время, русскими следует править иначе, являя себя; это в их традиции; Петра многие до сих пор ненавидят, над Керенским потешаются — болтун, а дурака-Николашку втайне жалеют, ибо тот следовал принятому веками: являл себя; событие, новость, общение Помазанника с народом...

Итак, ленинская ссылка на кадры, на их главенствующую роль — необходима. Он, Сталин, не предлагает ничего нового, он руководствуется заветом великого Ленина, своего верного друга и соратника.

Лишь однажды он не смог проконтролировать себя и услышал в себе *правду*: если и дальше в стране останутся люди, которые *помнят*, его

будущее окажется в постоянной опасности, ибо, обратившись к периоду с семнадцатого по двадцать четвертый год, к засекреченному Завещанию парализованного Ульянова, всегда может найтись *псих*, который вылезет на трибуну съезда или конференции: «Товарищи, как можно терпеть диктатора?! Куда мы идем?!»

Да, Молотов, Ворошилов и Каганович подобрали достаточно устойчивое большинство, преданное ему, «верному соратнику» Ленина, лишенному блистательного фразерства Троцкого, шатаний Каменева и Зиновьева, философского фейерверка Бухарина («не вполне диалектического»), прямолинейности Рыкова, крестьянских «штучек» Калинина (того припугнул еще в двадцать шестом, разрешив напечатать в «Крокодиле» злую карикатуру на Старосту: неравнодушен к прекрасному полу, причем подставляется, об этом говорят, такое в политике не прощают — или будь во всем со мною, или ЦКК вышвырнет из *рядов*, фактов у Куйбышева и Сольца хватает). Все это так, людей подобрали, но истина такова, что можно управлять лишь сотней преданных, хоть и разнохарактерных политиков. А тысячью? Она неподвластна ничьей воле, даже Ленин порою не мог совладать со съездами, — отсюда дискуссии,

оппозиции, турниры эрудитов, которые могут выстреливать без заранее подготовленного текста, швыряться латынью, приводить немецкие и французские первоисточники; он, Сталин, не может этого, но он в отличие от всех них решился на то, чтобы признаться себе: русским народом можно и нужно, для его же блага, управлять круто, жестко и немногословно, искушая при этом пряником будущего. Чем жестче с этим народом, чем беспощаднее, тем покорнее он и *счастливее*: наконец-то появилась *Рука*, пришел *Хозяин*, наведет *Порядок*.

Но русский человек пойдет за ним только тогда, когда он назовет *врагов*, на которых лежит вина за лишения, заклеймит тех, кто сознательно мешал коммунистической, равной для всех, *благодати*. И этими виновниками должны быть не пешки, а руководители, всем известные люди, признанные вожди.

Изначальный дух традиционного общинного равенства удовлетворится этим, он примет и одобрит крушение тех, кому ранее поклонялись, и будет благодарен именно ему за это *очищение от чужих*.

Однако масса — массой, а *умы — умами*; прав Грибоедов — «горе от ума».

Значит, начав сверху, надо уничтожить всех, кто вступил в партию до семнадцатого года; Калинин испугался, теперь во всем со мной. Испугаем еще с десяток ветеранов; таким образом, пуповина, связывающая *качественно* новую волну молодых руководителей с памятью о Ленине, не будет перерезана: Лепешинские будут славить его, Сталина, истинного продолжателя дела Ленина, так же как это делал в тридцатом Зиновьев, а в тридцать шестом — Бухарин с Радеком...

Именно поэтому Ежов, поднаторевший в аппаратной работе — просидел восемь лет в замзавах орготделом, — должен загодя приготовить *списки*: как на тех, кого надо уничтожить, так и на ту *молодежь* (прав был Троцкий: «молодежь решает все»), которая займет места *памятливых*.

...В тридцать шестом году Виктор Абакумов был младшим оперативным уполномоченным Воронежского НКВД; его любили за веселый нрав, отзывчивость и умение работать за других; если кто из товарищей *зашивался*, он всегда был готов прийти на помощь, просиживал на работе воскресенья, спал по-наполеоновски — пять часов.

Когда на второй день после расстрела Каменева и Зиновьева из Москвы пришел *список* и первым в нем значились начальник областного управ-

ления, два его заместителя, секретарь обкома и председатель облисполкома, его, Абакумова, заранее обсмотренного уже людьми Ежова и Маленкова со всех сторон в течение полугода, вызвали к аппарату прямого провода.

Звонил не нарком Ягода, внезапно занедуживший, но лично секретарь ЦК Ежов:

— Даю вам неделю срока на то, чтобы вы добились признания от воронежских троцкистов... Фашисты пытают наших товарищей по классу, Троцкий — агент Гитлера, почему мы должны работать в белых перчатках? Око за око, зуб за зуб! Я надеюсь на вас, товарищ Абакумов... Если возникнут какие вопросы — звоните к Миронову, Берману или Слуцкому, люди с опытом, дадут совет...

Лишь в конце недели (арестованные продолжали запираться, несмотря на то что Абакумову передали из Москвы папки с изобличающими их показаниями, данными на следствии Валентином Ольбергом и бывшим зиновьевским помощником Рихардом Пикелем, ныне членом Союза писателей) он зашел в буфет, купил коньяка и коробку шоколадных конфет, поднялся в свой закуток, выпил из *горла* бутылку «Варцихе», напоенного запахом винограда, вызвал из

камеры бывшего начальника управления НКВД — того, кто учил его навыкам работы («у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце»), и, заперев дверь, начал молча и яростно бить его со всей своей богатырской силой; потом, окровавленного, полубессознательного, взяв под мышки, подтащил к столу и заставил подписать чистый бланк протокола допроса.

Заполнив его, вытащил из камеры секретаря обкома, ознакомил с «чистосердечными показаниями» начальника НКВД и предложил: «Либо десять лет по Особому совещанию, если напишете то, что я вам продиктую, либо расстреляем сейчас же — партии нужны свидетельства против врагов народа, вам, большевику, это известно не хуже, чем мне... Даю честное слово чекиста — если поможете разгрому троцкизма, через год станете парторгом строительства на Дальнем Востоке».

Сломал всех, дела отправил в Москву, оттуда пришло указание: «расстрелять признавшихся, арестовать тех, кого они помянули в показаниях, готовить новое *дело*, более *охватное*...»

Организовал и это: расстрелял еще четыре тысячи ветеранов партии, получил орден Красной Звезды.

После этого Ежов хотел сразу же забрать его в центральный аппарат; Маленков, отвечавший перед Сталиным за создание нового партийно-государственного механизма, Абакумова придержал, поставив его исполняющим обязанности руководителя Воронежского НКВД; лишь когда Берия был назначен первым заместителем Ежова, а того стали готовить к переводу на работу в Наркомвод России, чтобы расстрелять без шума, Абакумова вызвали в Москву.

Вот его-то Берия и двинул на пост министра, сохранив свою старую бакинскую гвардию, провинившуюся при вывозе трофеев из Германии (собрал их в ГУСИМЗ): Меркулова, братьев Кобуловых, Деканозова.

И когда его, Абакумова, неожиданно для него самого назначили главою государственной безопасности, после первых недель счастья и сладостной, пьянящей эйфории постепенно, по прошествии месяцев, он начал отдавать себе отчет в том, что он окружен людьми Лаврентия Павловича и каждый шаг его контролируется; практически — *поднадзорен*; любая инициатива докладывалась Берия в тот же час, как только он выдвигал ее...

И Абакумов стал перед выбором: либо начать

работу — тайно, аккуратно, исподволь — против своего высокого покровителя, выдвинувшего его на этот ключевой пост, либо смириться со своим положением: послушная кукла, которой управляет невидимая рука могущественного сатрапа; можно постараться войти в блок с секретарем ЦК Кузнецовым, который после Маленкова все активнее входил в дела *аппарата*, обращаясь к делам тридцатых годов, постоянно требуя борьбы с рецидивами «ежовщины» — «законность прежде всего».

Абакумов взял из архива свои воронежские дела, увидел следы крови на бланках допросов (начальник НКВД уронил голову на протокол, испачкал бумагу, сволочь); сжег, но понял, что таких дел — тысячи, особенно когда он отвечал за допросы и депортацию на Колыму бывших пленных и узников гитлеровских лагерей; все не спрячешь, сказал он себе, *наследил*, дурак!

Нет, блок с Кузнецовым не получится: тот просидел всю ленинградскую блокаду, от дополнительных пайков отказывался, лез в окопы, *чистюля*...

Тем не менее исподволь, постепенно он начал выстраивать свою линию: попросился на прием к Вознесенскому, внес предложение о более

активном использовании заключенных на стройках коммунизма, попросив при этом увеличить пайки отличившимся зэкам. Тот посоветовал перевести на вольное поселение как можно больше узников, если, конечно, эти люди не были фашистскими наймитами на оккупированных территориях, обещал помочь с увеличением *паек*, ничего из предложенного не отверг.

После этого Абакумов позвонил Кагановичу. Министр путей сообщения был более аккуратен в разговоре, обещал подумать, но в принципе идею одобрил, заметив:

— Генерал Куропаткин, командовавший русской армией в пятом году, верно говорил: «Дайте мне вторую ветку во Владивосток, и мы опрокинем японцев...» В тридцать третьем мы пытались было начать этот проект, но силенок не хватило, спасибо за предложение, вижу разумное зерно...

Абакумов тогда лишний раз подивился напористости и уверенности в себе этого еврея. Одного брата расстреляли, другой покончил с собой накануне ареста как изобличенный бухаринец, кулацкий прихвостень, а этот сохранил позиции; более того, люди ездят в Метрополитене имени Кагановича, а не Сталина, поди ж ты!

...Абакумов ждал, как прореагирует на его ви-

зиты благодетель — Лаврентий Павлович; тот, однако, не сказал ни слова, хотя наверняка знал обо всем. Но кожей, каждой клеточкой своего существа, каким-то особым чувством, непонятным ему самому, министр ощутил, что Берия изменился к нему, хотя внешне стал еще более приветливым и радушным.

Вот тогда Абакумов и решил разыграть козырную карту: когда Берия уехал в отпуск, министр вызвал двух *своих* — тех, кого ему удалось притащить с собой из Воронежа, и показал им письмо, подписанное неразборчиво (сам продиктовал шоферу, верил ему, как себе, тот работал с ним девять лет). В анонимке сообщалось, что трое молодых контриков, живущих на Можайском шоссе, по которому товарищ Сталин каждый день ездит на Ближнюю дачу, готовят теракт против великого вождя.

— Это что же такое, а?! — Абакумов играл ярость. — У вас под носом орудуют террористы, и мне об этом докладывают простые советские люди, а не вы — с генеральскими погонами, лечебным питанием, двусменками и кремлевкой! Чтобы через три дня у меня на столе лежало оформленное дело, ясно?!

Арестовали троих «троцкистов»: семнадцати,

девятнадцати и двадцати одного года. Сломали их за двое суток, выбили у них показания еще на пятерых юношей, и тогда-то Абакумов, замирая от ужаса, позвонил Сталину, сказав, что он не посмел бы тревожить, если бы не чрезвычайное обстоятельство...

Сталин питал слабость к высоким и статным военным; Абакумов помнил эти слова, оброненные как-то Берия во время застолья. Поэтому, отправляясь на прием к генералиссимусу, он надел генеральский мундир, галифе и сапоги-бутылочки.

Ознакомившись с *делом*, Сталин пыхнул трубкой и, задумчиво посмотрев в окно, выходившее на кремлевскую площадь, усмехнулся:

— Не унимаются? Скажи на милость... Что ж, если остались волчата, надо искать волка. Сами они на такое дело б не пошли. Как считаете?

И тогда, похолодев, Абакумов спросил:

— Разрешите докладывать ход следствия, товарищ Сталин? К сожалению, Лаврентий Павлович в отпуску, мне бы не хотелось тревожить его...

Сталин поднял глаза на Абакумова, изучающе, как-то по-новому осмотрел его и, пожав плечами, ответил:

— Что это за манера перекладывать ответствен-

ность на других? Мне не нравится такая манера, товарищ Абакумов. Это не что иное, как перестраховка. Трусость и перестраховка, извините за прямолинейность. Вам ЦК поручил руководить госбезопасностью, вот и извольте выполнять свои обязанности, нужен совет — звоните. Я, как и всякий член ЦК, готов обсудить с вами любой вопрос... За это меня, кстати, до сих пор и держат в этом кабинете...

Сталин снова пролистал *дело*, задержался на показании самого молодого «террориста» о том, что он был намерен поступать в школу-студию Еврейского государственного театра, поставил галочку на полях и заметил:

— Вы, кстати, знаете, что режиссер этого театра Михоэлс — брат моего лечащего врача Вовси? Не надо травмировать Вовси... Прекрасный доктор... Но если Михоэлс, — Сталин оборвал себя, нахмурился. — Вы читали информацию о том, что в сорок четвертом, когда Михоэлс был в Штатах, от имени Еврейского антифашистского комитета собирая для нас деньги, он довольно часто *отрывался* от остальных членов делегации? То, видите ли, к Альберту Эйнштейну ездил, то еще куда-то... Странно это — обычно наши люди держатся друг за друга, этим и сильны.

...Когда Абакумов взялся за ручку двери, Сталин окликнул его:

— И вот еще что... У меня вчера была жена товарища Жданова: («Визит продолжался семь минут, — автоматически отметил Абакумов, — с семи тридцати до семи тридцати семи, генералиссимус торопился, хотел посмотреть новый фильм; Жданова одолевала его звонками девять дней».) Говорит, плохо ему, — продолжил Сталин, — постоянно жмет сердце, нужен отдых... Я успокоил ее: нервы, пройдет... А потом пожалел: всяко может быть — а что, если у любимца партии, героя Ленинграда, действительно плохо с сердцем? Я ему позвоню, пожалуй, скажу, чтоб завтра отдохнул, полежал на даче, а вы организуйте консилиум... Женщины, особенно жены, хорошие жены, — многозначительно добавил Сталин, не отрывая глаз от лица Абакумова (тот ощутил, как после этих слов генералиссимуса по ребрам начали струиться крупные капли пота, у него самого с женой нелады), — порою слишком уж паникуют по поводу здоровья мужей...

— Ясно, товарищ Сталин. Разрешите доложить заключение консилиума?

Сталин поморщился:

— Что вы из Сталина бога делаете? Или какого-

то царского унтера Пришибеева? Во-первых, не стойте во фрунт, мы с вами члены одной партии, единомышленники, товарищи... А вы весь напряженный, словно аршин проглотили... Позвоните, конечно... Если найдется окно — приму, а нет, так сообщите товарищам Молотову, Кагановичу... товарищу Вознесенскому непременно доложите, Кузнецову.

...За неделю до разговора с этим симпатичным ему русским красавцем Сталин просмотрел свой любимый фильм «Цирк» (эту картину и «Волгу-Волгу» он смотрел ежемесячно), сделал замечание Поскребышеву, чтобы наркомкино Большаков вырезал эпизод, где Михоэлс поет песню по-еврейски, передавая маленького негритосика грузину, и в добром расположении духа вернулся к себе. Берия, получив немедленную информацию от своего человека из охраны, позвонил Старцу и попросил уделить ему десять минут.

— А спать Сталину можно? — усмехнулся Старец. — Друзья бранят Сталина, товарищ Берия, за нарушение режима... Хотите, чтобы я поскорее уступил вам всем свое место? — Помолчал, *слышимо* раскуривая трубку, пыхнул и заключил: — Приезжай, батоно, жду.

Последние слова произнес тепло, мягко, как говорил с ним накануне расстрела Ежова, рассказывая со слезами на глазах, каких замечательных людей погубил этот душегуб и алкоголик. Глядя тогда на него, Берия испытывал ужас, ибо он-то уже знал одну из причин предстоящего устранения Ежова: Сталин был увлечен его женой — рыжеволосой, сероглазой Суламифью, но с вполне русским именем Женя. Она отвергла притязания Сталина бесстрашно и с достоинством, хотя Ежова не любила, домой приезжала поздно ночью, проводя все дни в редакции журнала, созданного еще Горьким; он ее к себе и пригласил.

Сталин повел себя с ней круче — в отместку Женя стала ежедневно встречаться с Валерием Чкаловым; он словно магнит притягивал окружающих; дружили они открыто, на людях появлялись вместе. Через неделю после того, как это дошло до Сталина, знаменитый летчик разбился при загадочных обстоятельствах.

Женя не дрогнула: проводила все время вместе с Исааком Бабелем; он тоже работал в редакции; арестовали Бабеля.

Сталин позвонил к ней и произнес лишь одно слово: «Ну?»

Женя бросила трубку. Вскоре был арестован Ми-

хаил Кольцов, *наставник*, затем *шлепнули* Ежова — тот был и так обречен, «носитель тайн»...

...Сталин улыбнулся Берия мягкой улыбкой, спросил по-грузински, как дела, что нового, как дома; Берия мгновение думал, на каком языке отвечать, Старец все более и более верил в то, что он русский, выразитель народного духа, вполне может быть, что идет очередная проверка, поэтому фразу построил хитро:

— Матлобт[3], товарищ Сталин, все хорошо...

— Ну, что стряслось?

— Вот, — Берия протянул папку, — здесь всего две странички, товарищ Сталин.

Тот отодвинул папку в сторону:

— Корреспонденцию можно было и с фельдъегерем прислать... Расскажи, в чем дело, а это, — он положил руку на папку, — я потом посмотрю...

— Хорошо, я готов, хотя мне очень больно рассказывать об этом...

— Тебе больно? — Сталин удивился. — Такой молодой, а больно... Это мне больно всех вас слушать... Наши споры — при Ленине — ничто в сравнении с вашей скорпионьей банкой... Откуда

---

3 Примечания: 3
Спасибо (*груз.*).

в вас такое макиавеллиевское интриганство?! Я же постоянно прошу: критикуйте, возражайте, деритесь за свое мнение... А вы? Кроме Вознесенского — тянете руки, как школьники... Ну, давай, что стряслось?

— В журнале «Вопросы философии» появилась статья, товарищ Сталин... Очень резкая... Не называя никого по имени, там, однако, мазали грязью тех атомщиков, без которых мы не получим *штуки*. А затем потребовали собрать совещание моих атомщиков, чтобы они покаялись и заклеймили космополитов... А у меня, к сожалению, их много, начиная с главы школы Иоффе и кончая Ландау... Словом, приехали товарищи из Агитпропа, объявили заседание открытым и предложили высказываться: по-моему, они подготовили двух младших научных сотрудников, но кому они нужны в нашем проекте, эти сопляки? Первым руку поднял Иоффе: «Прошу слова...» Поди не дай. Старик вышел и сказал буквально следующее: «Наша задача заключается в том, чтобы работать над *проектом*, с утра и до ночи, без отдыха и сна, речь идет об обороне Родины. Либо мои сотрудники будут заниматься *своим* делом, либо транжирить его на этих бессмысленных сборищах... Но тогда я попрошу наших уважаемых

гостей-идеологов из Агитпропа ЦК отправиться сейчас же в лаборатории и приступить к работам по *проекту*...»

Сталин на мгновение замер, лицо собралось морщинами — *больное* лицо, — потом усмехнулся:

— Идиоты... Что, не на ком свои перья пробовать? Мало им физиологии и генетики?! Шмальгаузена им мало?! Кто давал задание опубликовать эту статью?

— Не знаю, товарищ Сталин... Но физики по сию пору бурлят...

Сталин снял трубку «вертушки», не посмотрев даже на часы: половина третьего ночи; гудки были долгими; Старец терпеливо ждал; дождался.

— Товарищ Жданов, — сухо сказал он, не поздоровавшись даже, — кто распорядился напечатать статью в «Вопросах философии» о космополитах в атомной физике? Я готов встретиться с вами часа в четыре, вас устроит это время?

И, не дожидаясь ответа, положил трубку.

Берия вышел от Старца так, словно летел по воздуху: вот оно, свершилось! Статью-то написал его человек, принес помощнику Жданова, тот читал, делал пометки; спокойной ночи, Андрей Александрович!

...А через три дня, сердечно попрощавшись с «дорогим Андреем Александровичем», Берия отправился в Сухуми — на отдых...

...Вернувшись от Сталина в министерство, Абакумов выпил стакан мадеры (присылали из Крыма, специальной очистки, почти совсем без сахара), дождался, пока внутри *осело*, снял френч, поменял совершенно мокрую от пота рубашку, переоделся в штатское и только после этого погрузился в тяжелое раздумье.

...Еще в первые месяцы работы в Москве, выполняя *поручение* Берия, он наладил наблюдение и подслух всех разговоров бывшего народного комиссара здравоохранения Семашко, одного из тех, кто начинал революционную борьбу вместе с Лениным.

Данные прослушки оказались любопытными: однажды Семашко сказал за чаем, что «гибель Холина, исчезнувшего в конце двадцатых, когда Ягода стал заправлять в ОГПУ, — серьезный удар по науке; гениальный врач, черт его дернул брякнуть о гибели Мишеньки, на каждую сотню честных приходится один платный мерзавец».

Поначалу Абакумова заинтересовали слова о «платных мерзавцах», но когда он затребовал дело на исчезнувшего доктора Холина, то оказалось,

что тот ассистировал при операции Фрунзе.

Значит, Мишенька — это Фрунзе, понял тогда Абакумов, вот в чем дело!

Все знали, что преемником Фрунзе стал Ворошилов, — таким образом, армия сделалась сталинской. Через полгода после этого *странно* умер Дзержинский. Фактическим хозяином ОГПУ сделался Ягода. Первые распоряжения о слежке за Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Преображенским, Смилгой и Иваном Смирновым подписал он, Генрих Григорьевич, не Менжинский...

Приказ войскам Московского гарнизона на обеспечение порядка при высылке в Алма-Ату Троцкого отдал Ворошилов...

Дело о смерти Надежды Аллилуевой, жены генералиссимуса, Абакумов затребовать не решился: прикосновение к высшим тайнам Кремля чревато.

Тем не менее о «Мишеньке» и Холине доложил Берия.

Маршал взял материалы на Семашко, несколько дней изучал их, потом отправился к Сталину.

Выслушав Берия, тот, не скрывая раздражения, спросил:

— А ты разве не знал об этой гнусной сплетне? В свое время японский шпион Вогау преуспел

в раскрутке этой гнусности... Вогау — известно такое имя?

Берия знал, что врать Сталину нельзя: либо нужна заранее подготовленная двусмысленность — генсек это любил, либо правда.

— Нет, Иосиф Виссарионович, не известно.

— Псевдоним писателя Бориса Пильняка, — зло сказал Сталин. — Как не русский, так прячется за псевдоним... Один Эренбург удержался, молодец, ценю в людях достоинство... Ну а Семашко... Встретился бы с ним... Карпинский с Бончем молчат, конспираторы... Лепешинская — верна, я в ней убежден, тоже из нашей, истинно ленинской гвардии... Поговори с Семашко, по-дружески поговори: «Мы все знаем, шутить с огнем опасно, подумайте...» И пусть напишет статью о роли истинных ленинцев в гражданской войне.

Через пять дней Семашко подписал панегирик в честь истинного организатора всех побед Красной Армии против беляков, об «иудушке Троцком», предателе и наймите фашистов; закончил, как и положено: «Сталин — вера, надежда и гордость народов всего мира».

Подслушка зарегистрировала (наблюдение с Семашко, конечно, не снимали): чай теперь пьет молча, все больше пишет, никого к себе не при-

глашает, *успокоился*...

После нескольких часов мучительных раздумий Абакумов с карандашом перечитал речь Жданова против Зощенко (обожал этого писателя, с дочкой раньше вслух читали, оба покатывались со смеху) и Ахматовой (эту и не знал вовсе; наблюдение за ней вели только потому, что была когда-то женой террориста и контрреволюционера Гумилева, бывшего сотрудника разведки царского генштаба; хорошо, кстати, работал в Африке, тоже что-то сочинял), попросил принести постановление ЦК по журналам, операм и фильмам, потом затребовал специнформацию у *своих*; те доложили, что якобы сын товарища Жданова сказал отцу в машине, когда ехали на дачу, будто борьба против космополитов, за патриотизм и приоритет русской науки и культуры начинает приобретать ярко выраженный антисемитский характер, отнюдь не антисионистский. Жданов якобы ничего на это не ответил, только пожал плечами. В другой раз, когда сын недвусмысленно высказался против гениальной теории великого ученого Лысенко, любимца товарища Сталина и всего советского народа, Жданов усмехнулся: «Смотри, он тебя скрестит с какой-нибудь морковью или яблоком — станешь фруктом, а фрукты

— едят...» Была, оказывается, специнформация и о том, что якобы Жданов сказал одному из своих помощников: «Безродный космополитизм мы выкорчуем с корнем — это историческая задача, поставленная перед нами товарищем Сталиным, но давать пищу врагам о мифическом антисемитизме мы не должны, во всем надо соблюдать чувство меры».

И лишь после этого, уже вечером, постоянно вспоминая менявшееся выражение глаз Сталина, когда тот говорил о Жданове, министр снял трубку ВЧ и попросил соединить его с той дачей на Кавказе, где сейчас отдыхал товарищ Берия.

Маршал выслушал не перебивая, поблагодарил за звонок, поинтересовался, не просил ли товарищ Сталин обговорить этот вопрос с ним, Берия, и после короткого раздумья ответил:

— Как ты понимаешь, мне в этой ситуации давать тебе какие-либо советы нетактично. Тебе поручено — ты и исполняй. Сам знаешь, как всем нам дорого здоровье товарища Жданова... Я бы на твоем месте собрал два консилиума, пусть они, независимо друг от друга, выскажут свое мнение, знаешь ведь, как они цапаются, эти светила... А уж потом пригласи самых главных корифеев, познакомь их с заключениями первых двух кон-

силиумов — с этим и иди к Хозяину... Заранее дай команду своим людям за кордон, пусть будут готовы немедленно купить все необходимые лекарства, сколько бы они ни стоили: Жданов есть Жданов...

На информацию о Михоэлсе и Вовси не обратил особого внимания — надо решать главное!

Сразу же после разговора с Абакумовым маршал позвонил Вознесенскому: «Может быть, я прерву отдых? Надо же быть рядом с Андреем Александровичем...»

Затем связался с Молотовым и Ворошиловым; те успокоили: «Иосиф Виссарионович считает, что это переутомление, все наладится, отдыхайте спокойно».

...Через два часа к Берия вылетел Комуров; Лаврентий Павлович попросил его срочно привести новые сообщения об атомных исследованиях в Штатах.

Говорили, однако, не об атомных проектах — о Жданове.

— Сталин вернет Маленкова в тот день, когда закопают *любимчика*, ясно? — Берия рубил, засунув руку в карманы пиджака. — Включай свою медицинскую агентуру, диагноз должен быть точным: «сердце может сдать, нужен отдых».

Пусть уедет куда подальше, только б не остался на своей даче... Все дальнейшее — дело техники, не мне тебя учить... Запомни — это последний шанс вернуть Маленкова в Москву, тогда Вознесенский с Кузнецовым мне не так страшны. А я — это вы все!

...Вскоре директора и главного режиссера Еврейского театра Михоэлса пригласили в Минск.

Провокатор, подведенный к нему, — из старых добрых знакомцев — позвал на вечернюю прогулку. Шли по пустынной улице, был поздний вечер. Знакомец и подтолкнул Михоэлса под колеса полуторки, за рулем которой сидел друг Берия министр госбезопасности Белоруссии Цанава, подчиненный, естественно, Виктору Абакумову...

...В Москве великому артисту устроили торжественные похороны. Лицо загримировали, чтобы скрыть кровоподтеки: Цанава проехал по несчастному дважды, для страховки; на кладбище представители общественности говорили проникновенные речи.

...А Жданов *умер* на Валдае, в новой даче ЦК; Берия, рыдая, первым позвонил в Ташкент Маленкову: «Георгий Максимилианович, у нас горе, страшное горе!»

По прошествии нескольких недель, накануне заседания Политбюро, Сталин поставил кадровый вопрос. Берия отправился на дачу к Старцу:

— Товарищ Сталин, если вместо незабвенного Андрея Александровича, который так помогал атомному проекту, встанет кто-либо новый, работа может застопориться на месяцы: притирка она и есть притирка.

— А Кузнецов?

— Он прекрасный секретарь ЦК, но, если вводить его в Политбюро, как себя почувствуют Шкирятов, Шверник?

Сталин спросил:

— Что, тревожишься по поводу монолитного единства? Молодец, умница, — в глазах его, однако, таились угроза и недоверие. — А кто, по-твоему, сможет помогать *проекту* так, как это нужно?

И Берия, замирая от ужаса, тихо ответил:

— Маленков, только он. Простите его, товарищ Сталин... Ведь он ваш ученик, он вами выпестован, предан до последней капли крови...

— Политбюро решит, — ответил Сталин. — Я соглашусь с мнением большинства... Партии не нужен культ, папа, император... Коллегиальность — вот наш принцип, завещанный Ильичем...

Берия в тот же день посетил Молотова, Ворошилова, Косыгина (хоть тот был кандидатом в члены ПБ, правом голоса не обладал), Суслова и Микояна. С Андреевым и Кагановичем перезвонился: «Есть мнение проголосовать за возвращение Маленкова, товарищ Сталин интересуется, не против ли вы этого решения?»

...Маленков вернулся в Москву, заняв место «скрипача» — так в последнее время Сталин порою называл Жданова, зная его пристрастие к скрипке. (Повторение Тухачевского, что ли? Ишь, борец за интернационализм и Закон! А кто первым поставил подпись под приказом применять пытки? Я? Нет не я, а он. Где, кстати, эта телеграмма? Надо изъять.)

Записал на календаре: «Телеграмма о пытках». Потом, подумав, вырвал страничку, сжег, пепел стряхнул в корзину для бумаг; запомню и так, завтра дам указание Кузнецову; однако к вечеру забыл об этом, увлекся чтением дела о новоафонских духоборах, которые первыми подняли вопрос о примате Слова, в шестнадцатом году еще...

Вернуть Маленкова разрешил не из-за мольбы Берия. Дело в том, что все чаще думал: пришла пора выступить с рядом фундаментальных

теоретических работ, не все Троцкому теоретизировать или Бухарчику. Надо стать над ними, решить проблему Духа, то есть Языка, ибо сначала было Слово, и, конечно же, экономики. Жданов наверняка потянул бы и в этом на себя одеяло — слишком любил большие аудитории, блистал эрудицией, налаживал блок с писателями и учеными, подминая их под себя; вот, бедный, и надорвался; каждый сверчок должен знать свой шесток... Маленков такого себе никогда не позволит, человек-тень. Бригаду филологов и экономистов Маленков организует так, как никто другой, Берия прав — моя школа.

...Абакумов продолжал ездить к Сталину практически каждую неделю.

Берия знал об этом, но расспрашивать не расспрашивал, не позволяла особая этика; довольствовался информацией, которую ему *отдавал* сам Абакумов: кое-что подкидывали сидельцы Кобы, что-то — его, Берия, личная агентура, работавшая на Ближней даче: порою Старец вызывал Абакумова не в Кремль, а за город.

Чувствуя все большее расположение к себе Сталина, министр государственной безопасности постепенно стал *закрываться*; о беседах с Хозяином практически ничего не рассказывал, а ведь

просиживал у него минут по сорок.

Молотов теперь звонил к нему напрямую, минуя Берия; так же повели себя и Ворошилов с Кагановичем.

Это и решило судьбу Абакумова: маршал решил убрать его, однако не сейчас, а в нужный час и по организованному его людьми сценарию.

Убрать — не убить; такой костолом пригодится позже в делах, но без прямых *выходов* на Старца.

А поскольку в большой игре мелочей не бывает, то Берия через свои давние возможности сделал так, что в Швеции снова заговорили о судьбе похищенного барона Валленберга; с этими материалами он и отправился к Сталину; тот жадно интересовался всем тем, что происходило за кордоном.

Читая спецсообщение, заметил:

— Стокгольм — самый скучный город из всех, где мне приходилось работать... Я там, кстати, в одном номере с Алешей жил, с Рыковым...

13

На этот раз Аркадий Аркадьевич встретил Исаева сумрачно, из-за стола не поднялся, несколько раздраженно кивнул на стул, что стоял возле маленького столика, поставленного перпендикулярно к его большому, с резьбой, письменному; сцепил свои крепкие пальцы и начал монотонно ударять ребром ладоней по толстому стеклу, под которым лежал список телефонов и фамилий.

— Объясните мне, — заговорил он наконец, аккуратно подыскивая нужные слова, — почему вы... полковник МГБ... ни на йоту не верите нам?

Исаев не торопился с ответом; удержался, чтобы не хрустнуть пальцами; до натужной боли в ладонях сжал кулаки и откинулся на спинку стула:

— Во-первых, я никогда — во всяком случае официально — не был еще «коронован» званием полковника МГБ. Я просто Штирлиц... Для меня достаточно... И потом, это какое-то странное новшество — держать полковника МГБ в камере внутренней тюрьмы... Впрочем, может быть, у *руководства* есть на этот счет свои новаторские

соображения... Во-вторых, вы сказали «нам». Следовательно, вы не разделяете себя с Деканозовым? И с тем человеком, к которому вы меня подняли, когда он орал на меня в присутствии Деканозова, как уголовник с Хитрова рынка... Вы едины с Сергеем Сергеевичем? А он держал меня на стуле, покуда я не валился на пол, потеряв сознание. Вы едины и с теми, кто глумился надо мной во время морского путешествия? Не разделяете себя с ними?

— Не разделяю, — отрубил Аркадий Аркадьевич; взяв карандаш, быстро написал несколько слов на маленьком листочке бумаги и молча передал Исаеву, приложив при этом палец к губам.

Исаев посмотрел бумажку, отставив ее от себя, — почерк был мелкий, неразборчивый; Аркадий Аркадьевич протянул ему очки, продолжая *рубить*:

— И никогда не буду отделять себя от моих друзей, запомните это! А демагогия вам не к лицу, стыдно!

На бумажке было написано: «Еще как отделяю!».

— Если не отделяете себя от них, я вообще не стану с вами разговаривать, — ответил Исаев, кивнул на карандаш.

Аркадий Аркадьевич словно бы ждал этого; протянул ему «фарбер».

— И вообще я не буду говорить в этом кабинете, — продолжал Исаев, — где каждое мое слово записывается, а потом из этого вполне может быть склеена нужная вам композиция из нарезов пленки...

На бумажке написал: «Пригласите в ресторан — если пойдем пешком, стану говорить»; последнее слово резко подчеркнул — так резко, что даже обломился кончик остро отточенного грифеля.

Аркадий Аркадьевич прочитал ответ; Исаев, изучающе глядя на него, резко подвинулся к большому столу, закрыв локтем обломившийся кусочек грифеля.

— Да, любопытно, черт возьми, — после долгой паузы ответил Аркадий Аркадьевич с усмешкой, — казалось бы, политик, то есть экономист, а не понимаете, что в стране дефицит серебра! А без него нет пленки для записывающей аппаратуры... Все деньги — особенно золото и серебро — идут на восстановление из руин Минска, Сталинграда, Харькова, Смоленска...

Достав пачку «Герцеговины Флор», протянул Исаеву:

— Курите...

Зажег спичку, запалил бумажку, тщательно растер пепел пальцами, высыпал на ковер, *прошелся* подошвой и, кивнув на отдушины, сыграл:

— Отвыкли от папирос, что ль? Сигареты легче раскуриваются? — и зажег вторую спичку, протянув ее Исаеву.

— Ваши папиросы отсырели, — ответил Исаев, не отводя глаз от лица Аркадия Аркадьевича. — На вашей даче эти же папиросы были хорошо высушены...

— Я не зря спросил о том, отчего вы нам не доверяете... У меня для вас есть два сообщения... Первое — неприятное, второе — радостное... От того, как вы прореагируете на эти сообщения *купно*, зависит очень многое... С какого начинать?

— С неприятного.

Аркадий Аркадьевич медленно поднялся из-за стола и пошел к сейфу.

Исаев неторопливо взял кусочек грифеля и положил его под язык; Аркадий Аркадьевич достал из сейфа папку, вернулся к столу, протянул ее Максиму Максимовичу:

— Читайте.

Исаев сделал три быстрые, глубокие затяжки; табак был горьковатый, крепкий; закружилась

голова; это головокружение, однако, было приятным, чем-то напоминавшим ощущение после бокала хорошего сухого шампанского; тщательно затушил папиросу — курил до картона, жадно; только после этого открыл папку.

Первое, что он увидел, было его заявление Лозовскому; прочитал записочку, приколотую к нему:

> «Дорогой Матвей Федорович, если мне не изменяет память, автор заявления достаточно серьезно работал — если, конечно, это тот самый Юстас, кем он себя рекомендует; органы, убежден, разберутся в этом. Его отец, Владимиров, знаком мне по эмиграции. Хоть он и был меньшевиком, но никогда не занимал враждебных по отношению к нам позиций. Он отошел от меньшевизма без какого бы то ни было давления, поняв бесперспективность идейной борьбы, и погиб от белогвардейской пули вместе с комиссаром Шелехесом... Был бы признателен, погляди Вы личное дело Юстаса: если он действительно честно выполнял свой служебный долг, нахо-

дясь за кордоном, нельзя ли подумать о снисхождении?

Лозовский».

— Кто такой Матвей Федорович? — спросил Исаев.

— Совесть партии, — торжественно объявил Аркадий Аркадьевич. — Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Матвей Федорович Шкирятов...

— Ну и каково мнение Матвея Федоровича?

— Разбирается... А теперь переверните страницу...

Сначала Исаев увидел большие красные буквы: «радиограмма»; ниже было что-то написано от руки, видимо, время отправления и приема, чьи-то резолюции, но он пропустил все это, потому что понял: весточка от Сани!

«Дорогой папа, как я счастлив, что ты дома! Мне не верили, что я ушел в Пльзень искать тебя! Теперь мое дело отправили на переследствие. Приговор отменен. Но я в госпитале. Не волнуйся, это бронхит. Через месяц сюда начнут летать «дугласы», меня обещали вывезти в Москву с первым же. Целуй маму, жду

встречи.

Саня».

— Где он? — спросил Исаев, откашлявшись.

— За Магаданом... Почтовый ящик семнадцать сто сорок четыре...

Исаев перевернул еще одну страницу; текст был очень короткий:

> «Гаврилину А. Н. из-под стражи освободить, отобрав подписку о невыезде вплоть до суда над Гелиовичем Я. П., где она обязана дать свидетельские показания.
>
> Генерал-майор *А. Иванов*».

Исаев потер веки, судорожно вздохнув:

— Где она?

— Мне удалось договориться с руководством, — по-прежнему медленно, с плохо скрываемым раздражением ответил Аркадий Аркадьевич, — что ей позволят поехать на курорт... Она ж совершенно измучилась за это время... Тюрьма не санаторий, что и говорить... Постарайтесь понять следователей: в стране разруха, половина России в руинах, и если перед ними сидит человек, хранивший книжонки Троцкого, Бухарина

и Джона Рида, — вместе с долларами, — состояние их делается накальным, скажем прямо. Мы жестоко наказываем за это, но ведь люди есть люди... Завтра поедем провожать вашу... Сашеньку... На Курский вокзал... Вам уже подогнали полковничью форму, орденские планки, так что предстанете перед нею во всей красе... А потом — на *дачу*... Придется переодеться в штатское — Валленберга мы тоже поселяем там, начнете работать над сценарием...

— Через месяц, — ответил Исаев, — как только провожу на курорт сына...

— Давайте вернемся к вопросу о сроках после того, как уйдет поезд в Симферополь, — Аркадий Аркадьевич наконец улыбнулся. — С лагерным госпиталем попробуем связаться по радиотелефону. Это вас устроит?

Не дожидаясь ответа, поднялся из-за стола и, снова показав глазами на отдушины, закончил:

— С вокзала зайдем отпраздновать освобождение матери вашего сына в ресторан «Москва» и выпьем по рюмке. Напишите, кстати, пару строк Лозовскому — поблагодарите за хлопоты... А потом возвращайтесь в камеру и хорошенько подумайте над нашим разговором...

(Письмо Лозовскому подшили к делу, которое

уже вели на заместителя министра иностранных дел, — будет арестован вместе с членами Еврейского антифашистского комитета.)

...В камере, продолжив с Валленбергом дискуссию о жизни римских цезарей (как выяснилось, они эту книгу тоже знали чуть ли не постранично), Исаев, расхаживая под «намордником», внезапно замер, потом подбежал к параше, согнулся над нею, изобразив внезапный приступ рвоты, незаметно достал обломок грифеля из-под языка, сунул его в карман и вернулся «под глазок», чтобы надзиратели не ворвались в камеру с обыском; обыскивать тут умели, он это понял в первый же час, когда его привезли сюда.

Валленберг, заметив странность в поведении сокамерника, *подыграл*:

— Тошнит? В солнечном сплетении нет боли? В левую руку не отдает?

Исаев, потирая грудь, хмуро поинтересовался:

— Хоронили кого из друзей, почивших от разрыва сердца?

— Старшего дядю, — ответил Валленберг. — Кстати, заметьте: от этой болезни не умирал ни один деспот, император или тиран... Даже Моисей, скончавшийся на сто двадцатом году, сдается мне, просто-напросто решил уйти в рай-

ские кущи: поближе к Богу, подальше от суеты людской... Надоел ему шумливый народ... Все же от гомона устают больше, чем от могильной тишины вроде этой...

— Не успокаивайте себя, — сказал Исаев. — Вы произнесли этот пассаж для себя, вам ведь не больше пятидесяти, вам нужны люди, общество, общение...

— Мне тридцать пять, — Валленберг покачал головой. — И я стал очень бояться людей.

Исаев поразился:

— Тридцать пять?! М-да... Эко вас жизнь покорежила...

— Знаете, я только в течение первого года ярился, даже хотел голову размозжить о стену, но потом задумался: а если страдание угодно? Если это мой взнос в очищение человечества от скверны? Если бы я сломался, стал здесь нечестным, принял те гнусные условия, которые мне навязывал следов...

Исаев резко перебил:

— Мы же договорились! Ни вы, ни я не говорим о наших делах!

Сев на койку, он откинулся, упершись выпирающими лопатками в мягкую шершавость войлока, устало закрыл глаза и сказал себе: «Этот

Аркадий ведет игру, которую я не могу понять... По логике вещей, он сегодня должен был задать вопрос... В конце беседы, уже после того, как ошеломил своими новостями: „Зачем вы начали свое общение с Валленбергом по-русски? Это же неминуемо посеяло в нем недоверие к вам! Вы намеренно хотели заставить его затаиться? Чтобы потом могли сказать: «Банкир отведет меня на процессе как русского!» Почему вы запретили ему исповедоваться? Он жаждет разговора о своем деле! Он со всеми говорил об этом! Почему вы не произнесли ни единого немецкого слова? Почему даже Библию вы переводили с листа на английский? Хотите переложить ответственность на Валленберга, когда он отведет вас на процессе как русского агента, так, что ли?“»

...Ночью, в то время, когда надзиратель в очередной раз кричал о сдаче и приемке постов по охране врагов народа, Исаев *сыграл* резкое вскидывание с койки — «разбудили слишком громкие голоса»; снова лег, закинул руки за голову, хрустко потянулся.

Потом поднялся, подошел к койке Валленберга, взял Библию, неловко толкнув при этом банкира; тот дернулся и открыл глаза, в которых был ужас.

Исаев прошептал:

— Извините, пожалуйста... Не спится... Я возьму *поподчеркивать*, ладно? Мой ноготь вы отличите — буду работать безымянным пальцем.

— Старый конспиратор, — сонно улыбнулся Валленберг, и в глазах его уже не было ужаса, а какая-то ищущая, в чем-то даже детская доброжелательность...

Исаев стал у двери, под лампой, и начал читать «Песнь песней»; он слышал — потому что *чувствовал*, — как возле глазка сопяще стоял надзиратель; пусть себе, подумал Исаев, они лентяи, работа тюремщиков — для тех, кто бежит от *труда*, трутни; наверняка через пять минут отойдет, устроится на стуле и подремлет — это ж Россия, не германцы...

...Через десять минут, когда охранник осторожно прикрыл смотровое оконце, Исаев достал из кармана кусок грифеля и начал быстро писать на заглавном листе Библии...

...Через полчаса Валленберг прочел:

> «Потребуйте вызова матери, адвоката из Стокгольма и местного дипломата. Если встречу дадут, соглашайтесь на процесс: да, вел *переговоры* с Эйхманом во

имя спасения несчастных от истребления в концлагерях. Агентом же гестапо, а тем более Эйхмана, даже фиктивным, чтобы облегчить переговоры, — не был. Это провокация нацистов, которые загодя хотели поссорить мою страну с Советским Союзом.

Во время свидания с адвокатом, мамой и дипломатом из вашего посольства поставьте ультиматум: если я стану нести на процессе околесицу и клеветать на себя, потребуйте проведения экспертизы на месте, в зале суда, — по поводу инъекций... Следы на теле останутся, меня кололи, я знаю... Я буду выступать свидетелем обвинения, как штандартенфюрер СС Макс фон Штирлиц. Вашу агентурную работу на гестапо буду отвергать. Факт секретных *переговоров* призна´ю. Потребую от вас ответить на мои вопросы. Если пойму, что вы несете чушь, заявлю суду, что у меня другая фамилия, должность и национальность... Подойдите к параше и, разжевав, съешьте страницу... Согласитесь на процесс только в том случае, если я попрошу вас об этом, один на один, и

не в камере, а на прогулке в лесу. Затем подтвердите это третьему человеку, генералу, который обеспечит вам встречу с мамой и другими шведами».

Валленберг рывком поднялся; Исаев замер; в тюрьме резкие движения подозрительны. Если надзиратель у окошка, может ворваться; нет, ответил он себе, сначала он побежит к тому, кто хранит ключи; все, тем не менее, обошлось: Валленберг разжевал бумагу, с трудом проглотил ее, вернулся на койку и, по-детски подложив руки под щеку, посмотрел на Исаева с невыразимой тоской и какой-то юношеской благодарностью: в глазах у него стояли слезы; одна скатилась по небритой щеке — медленно, как последняя капля внезапного весеннего дождя...

Исаев не отрывал глаз от лица Валленберга, а вспоминал писателя Никандрова, с которым сидел в двадцать первом в тесной камере таллиннской тюрьмы; он вспоминал горестные слова Никандрова и свои — беспрекословные — возражения ему; как же я был тогда жёсток в своей позиции, подумал он, как непререкаем... Впрочем, я готов подписаться под каждым моим словом, но только тем, двадцать первым годом,

трагичным годом, когда никто не мог представить себе, что произойдет в стране девять лет спустя...

Он помнил, как Никандров, расхаживая по камере, яростно возражал ему (о *подслушках* тогда никто не думал; как же летит время, а?! Человечество на пути к прогрессу изобретает радио — на радость всем, и *жучок* — на смерть тем, кто норовит остаться самим собой. Каждый шаг прогресса одномоментно рождает шажок беса. Почему так? Почему?!).

Никандров всегда грохотал, отстаивая свою правоту; голос его был как иерихонская труба:

— Каждый истинный литератор находился на своей Голгофе, Максим! Трагедия русского писателя в том, что он может быть писателем только в России... Внутренне... Но он не может им быть внешне, потому что именно в России ему мучительно трудно пробиться к людям... Верно, поэтому в нас и родился чисто «русский писательский комплекс»?! Русский литератор не может писать, не думая о тех, кто его окружает, но вместе с тем не может к ним пробиться, понимаете?! Это трагедия, на которой распята наша литература! Или она органично политичная, как у Писарева, и тогда она даже счастлива, если

ее распинают... А коль скоро в ней возникает *просвет*, как у Толстого, Достоевского или Гоголя, тогда рукописи летят в огонь, тогда человек бежит из дома невесть куда, он эпилептик, потому что эта гениальная бездна не может удовлетвориться данной политической ситуацией, вот в чем дело! Трагедия русского писателя в том, что в нем накапливается Мысль, Вера, она рвет ему сердце, сводит с ума, но уехать из России для него такая же трагедия, как и остаться там... Ведь когда властвует сила, места для морали не остается...

А что я ему ответил тогда, подумал Исаев, он ведь согласился со мною... Ах да, я вроде бы сказал, что русский писатель должен постоянно напоминать миллионам, что они *люди*... В него будут лететь камни, гнилые помидоры, дротики даже... Такой литератор погибнет — осмеянным и опозоренным... Но такие должны быть! Их не может не быть... И покуда оплеванный и униженный писатель продолжает говорить, что Добро есть Добро, а черное не есть белое, люди могут остаться людьми, иначе их превратят в тупое стадо...

А он ответил, что потерять константу духа и морали, которым служит истинная русская литература, можно только однажды... «А вы, — сказал

он мне, чекисту, который не скрывал от него правды, потому что верил ему, — хотите втянуть литературу в драку! Впрочем, вас можно понять... Вам нужно выполнить чудовищно трудную задачу, вы ищете помощь где угодно... Вы готовы даже от литературы требовать чисто агитационной работы, да будет ли прок?»

Ну и как? Получился *прок*, спросил себя Исаев. Или где-то, когда-то, в чем-то все *перекосило*? Когда? Где? В чем? Кто?

— Не спится? — тихо спросил Валленберг.

— Не спится...

— Теперь уже не уснете.

— Это почему? — удивился Исаев. — Поворачивайтесь на правый бок и считайте до тысячи — уснете... Завтра у нас предстоит разбор Цезаря, очень важный реферат.

И он снова вспомнил бернскую квартиру, отца, Воровского, Мартова, Аксельрода, Зиновьева, Дана и сразу понял, отчего увидел лица этих людей: «реферат» был их самым любимым словом — турнир идей; пусть победит умнейший — не сильнейший, ум мощнее силы, ибо не преходящ, а постоянен...

...Сашенька, сказал он себе, сынок, любимые, простите меня... По моей вине вы оказались в

жерновах... Я не верю ни единому слову этого Аркадия... Я понимаю, как они испугались после того, как я *вмазал* Деканозову; страх не прощают, за унижение страхом мстят... И не просто, а кровью...

14

Понимая, что ситуация в Политбюро продолжает оставаться зыбкой из-за открытого благоволения Старого Демона к Вознесенскому, *маршал* постоянно строил комбинации, которые бы укрепили его позиции. То, что он успел — после краха Жукова еще — *подкинуть* Старцу на «друзей» по Политбюро, постепенно, подспудно, медленно зрело в уме Кобы.

Вопрос с Молотовым решен — дело времени; после предстоящего ареста членов Еврейского антифашистского комитета жену министра иностранных дел посадят — вражина; Ворошилов скомпрометировал себя во время войны, эпоха конницы кончилась, Тухачевский был прав, все сталинские фавориты — Клим, Буденный и Кулик — не смогли противостоять немцам, бежали, фронт трещал; Каганович — не в счет; Шверник хорошо зарекомендовал себя в качестве судьи на первых пробных процессах против меньшевиков и технических интеллигентов, но не тянет на самостоятельность; Андреев — списанная фигура, Хрущев — мужик, у Микояна сидели дети,

Булганин пойдет за тем, кто сильней.

Только Егор Маленков, которого я вернул в Москву, я, и никто другой, понял раз и навсегда, что без меня он — ничто.

Конечно, поскольку безумный Старец забыл, где родился, считает себя квасным русским патриотом, я не смогу — формально, во всяком случае, — претендовать на первую роль; фамилию не менял, горжусь, что мегрел; Егор — первый, я — за ним; еще посмотрим, кто сильнее: Фуше или Талейран? А Егор вовсе не Талейран, а если и Талейран, то карманный.

Жизнь приучила Берия к тому, что мелочей не существует; именно поэтому информация об Исаеве, чье имя раньше, до панического сообщения Деканозова и Комурова, помнил зыбко (Лео Треппера и Шандора Радо знал, руководители «Красной капеллы»; обоих видел во время допросов, легче всего в голове откладывались не фамилии, а лица), а этого Штирлица, который гнал какую-то информацию по поводу бернских переговоров немцев с Даллесом, не представлял себе; потом и вовсе забыл этот псевдоним — готовил встречу в Ялте, обрабатывал документы, не до агентуры, судьбы мира решались...

Но сейчас, когда близилась *схватка*, когда Ста-

рец может выкинуть фортель и отдать портфель главы правительства Вознесенскому, ситуация по-прежнему была неблагоприятной, и если действительно этот Исаев бабахнет книгу о той службе, которую в ту пору возглавлял он, Берия, его недруги получат в руки козырь, а ведь в Политбюро *все* его недруги, ибо понимают: ему известно о каждом из них *все*, абсолютно все, без исключения...

Поэтому, приняв Комурова на даче, как и условились, в воскресенье, пригласил его на прогулку по песчаным дорожкам соснового бора, спускавшегося к реке, где у причалов стояли мощные катера (летом любил смотреть молодых купальщиц, выбери какую постатней — полковник Саркисов через час доставит голубушку к столу: фрукты, вино, коньяк, ванная комната, сладостный момент ожидания любви под крахмальной простыней, потом быстрое прощание: «Вот тебе, лапушка, подарок — облигация пустяшная, всего двести рублей, но чует мое сердце — на следующем розыгрыше возьмет пять тысяч»; говорил так потому, что брал в Наркомфине «для оперативных целей»).

Комурову верил безоговорочно, поэтому размышлял с ним вслух, словно бы проверяя на

генерале логику своих умопостроений:

— Хозяин обожает все подробности о Гитлере, — он вдруг зло усмехнулся. — Еще бы... Так вот этот ваш Исаев, если он действительно общался с Борманом и Шелленбергом, бывал действительно на докладах у Гиммлера, может рассказать много таких деталей, которые Коба *проглотит*... Однако всей информации сразу отдавать нельзя... Надо дозировать, чтобы разжечь в нем интерес... Я бы подумал, как подбросить Абакумову идею, предварительно повернув к этому вашего Штирлица, чтобы тот — под запись — сказал: «Но самые важные сведения, имеющие выходы на завтрашний день, — Гитлер заложил фугасы впрок — я расскажу только товарищу Сталину». Понимаешь?

— Товарищ Сталин зэка не примет, — убежденно ответил Комуров.

— Так посели его на даче, одень в форму: вернулся Герой, проверка кончилась, он чист, не ссучился, как такого не показать Иосифу Виссарионовичу?!

— Не очень понимаю смысл комбинации, — признался Комуров. — Что это даст — в связи с Вознесенским? И потом, мы лишаемся его как свидетеля на процессе Валленберга, он наш ко-

зырь...

Берия удивился:

— Почему? Его можно переводить на дачный режим хоть завтра... Вместе с Валленбергом... Отпустите жену... Вроде бы отпустите... Придумайте что-нибудь с сыном... Выступит на процессе Валленберга, дадим орден, а дальше — моя забота...

— Лаврентий Павлович, вы не видели этого человека... Случай совершенно особый...

Берия недоумевающе посмотрел на него:

— А что, ты уже не в силах устроить так, чтобы я лично посмотрел на него?.. Нужна санкция товарища Абакумова? Так попроси! Скажи, мол, Лаврентий Павлович просит вашего разрешения, товарищ министр!

Комуров обиделся:

— Если разрешите, я хоть завтра пристрелю Абакумова в его же кабинете...

— Не разрешу, — усмехнулся Берия. — К сожалению... Если уж и расстреливать — то в камере, после ареста и процесса... Да и надо ли? Дурак в лампасах дорогого стоит... Запомни: Сталину сейчас нужно небольшое, но красивое *дело* против «великорусской автаркии», чтобы потом ударить по его любимым евреям; Израиль мы просрали, время менять ориентиры, нам нужно Средизем-

ное море, нужны арабы, для этого изолируем от общественной жизни собственных евреев — неужели не понятен азбучный строй рассуждений Сталина?! Он их ненавидит, но никогда в этом никому не признается; ты ж его знаешь: «Прежде всего интересы русского народа, мы ему служим и должны делать это отменно и впрок...» А народ в деревнях мрет от голода! — Берия резко оборвал себя. — Поэтому с Валленбергом не торопись, дорого яичко ко Христову дню... А главную комбинацию ближайшего будущего я вижу следующим образом: на предстоящей партконференции Питера нужно сделать так, чтобы там произошла какая-то *заметная* накладка: то ли Сталина мало в речах помянут, империализм ли будут недостаточно громить, не того человека проведут в бюро — не знаю, это *подробности*, тебе о них и думать... Информация об этом скандале должна поступить на стол Сталина не от Абакумова... От Маленкова... Егор сам доложит Кобе... Вот тебе и *дело* против «ленинградского великорусского уклона»; выбьешь показания у ленинградцев... Допросы проводи сам — особенно первые... Это ты умеешь — сломятся. От них нужно только одно: да, были связаны с Вознесенским и Кузнецовым, вместе думали о создании

русской столицы в Ленинграде или Горьком... Дальше — само покатится... Вот тогда все отдашь Абакумову... И Вознесенский, и Кузнецов станут молчать, чтобы с ними ни делали... И это — замечательно... Егор доложит Старцу, что Абакумов, видимо, тоже тяготеет к великорусской группе... Сталин поручит следить за ним неотступно: что и требовалось доказать! Принимать его откажется, Витюшка — в кармане! С потрохами... Это — первый этап. Но этого мало... Поскольку Абакумов тряс Кремлевку, поднимал историю болезни Жданова, но *выводов* не сделал, возьми у него ордер на арест пары-тройки профессоров — не из Кремлевки, а тех, кого туда приглашали на консультации; пусть те твои идиоты, кого не жаль, начинают их мотать: отчего ставили неверные диагнозы? По чьему указанию? Сколько за это получили? От кого? Пусть работают ласково, дружески, без крови... А ты — доложи Абакумову, что, мол, *вражины* молчат... Но это — лишь когда я дам тебе сигнал... Старцу очень нужен очередной спектакль, — повторил Берия. — С кровушкой... Вознесенский в четверг докладывал на ПБ: экономика трещит трагически, либо мы поможем сельскому хозяйству и вложим хоть какие-то средства в легкую промышленность, по-

собим группе «Б», либо возможны необратимые социальные диспропорции... Старец его спросил: «А если помогут наши пропагандисты? Уговорят народ потерпеть еще чуток? Назовут имена тех, кто мешает нам в работе? Объяснят, кто виноват в недостатке жилья, одежды, обуви? Мы не можем перекачивать средства из обороны на ботинки. Мы не можем заморозить группу «А» во имя «Б». Я лично довольствуюсь одной парой башмаков, почему другим надо больше?» А Вознесенский ответил, что, мол, это гомеопатия, а в создавшейся ситуации нужен скальпель... Сталин тогда спросил: «Беретесь быть хирургом?» А тот ответил: «Если поручите, дав полномочия, — возьмусь...» И Сталин улыбнулся: «А что, возраст у вас хороший, сорок пять, я в ваши годы уже был генсеком...» Ты понимаешь, что мы стоим на краю обрыва? Понимаешь, что выживший из ума деспот алчет крови?! В ней — его спасение! Вот так-то... А уж когда наша команда доложит Егорову, что и по евреям в хозяйстве у Абакумова шло раскачай ногу, арестованные профессора молчали, вот тогда и понадобится Валленберг... Цепь замкнется: гестапо — великорусская оппозиция — евреи — американская спецслужба...

Комуров остановился:

— Гениальная комбинация, Лаврентий Павлович! Просто-напросто гениальная! Ваше имя занесут на скрижали!

— Ах, Богдан, Богдан... — Берия вздохнул. — Порою меня потрясает твоя наивность... Как ребенок, право! Да разве я разрешу себе мараться в таком процессе?! Это ж позор империи! От этого страну придется отмывать! Вот я ее губкой и отмою. Я. Никто другой. Запомни это.

...За обедом, испуганно извинившись, Комуров, зримо превозмогая себя, спросил:

— Лаврентий Павлович, но все же сориентируйте меня, дурака: зачем тогда нам этот Исаев?

Берия недоумевающе глянул на Комурова:

— Кто?

— Исаев-Штирлиц...

Берия не рассердился, ответил тихо и очень грустно:

— Политик, который ставит на успех лишь одной комбинации, — не политик, а недоумок... Взяв у Штирлица информацию о Гитлере, заинтриговав — через Абакумова — Хозяина, получив собственноручную санкцию Сталина на расстрел бабы этого самого Штирлица и его полоумного сына как шпионов и террористов, — это тоже все на Абакумове, запомни, — видимо, я сам встре-

чусь с Исаевым. Пусть его Влодимирский готовит к этому загодя... Бородку приклею, усы нарисую, — Берия вздохнул, — я гримироваться научился еще в Баку, тряхну стариной... Если ваш Штирлиц — особый случай и если он узнает, что...

Берия резко оборвал фразу; даже себе нельзя в чем-то признаваться, а уж друзьям тем более...

...Нет ничего более обманчивого, чем взгляд со стороны.

Как часто мы видим мужчину и женщину, идущих по улице (солнечной, дождливой, морозной); улыбаются друг другу, он поддерживает ее под руку, само внимание, а на самом-то деле давно не любит, живет с другой, она мстит ему за это; дома — *крематорий*, но развод невозможен: он потеряет свою престижную работу. Сталин вернул стране былое ханжество, развод, разрешенный судом, приравнивается чуть ли не к государственной измене — вот и живут недруги (чтобы не сказать враги) под одной крышей...

Как часто мы видим праздничные застолья — нет ничего прекраснее грузинского, когда *стол* выбирает тамаду и его заместителя, и они не имеют права покинуть гостей до тех пор, пока не кончится обед, они должны пить, произносить мудрые тосты, в которых заложены не только

восхваления, но и логический анализ причин этих восхвалений; возможен и *намек* на определенные (впрочем, легко исправляемые) недочеты того или иного гостя; угодна и самокритика тамады, это ценится особо, значит, не *дежурный*, человек одарен даром божьим, призванием.

Глаз радуется, когда наблюдаешь такой стол — хоть издали, хоть вблизи... И никому невдомек, что один из гостей завтра утром *проинформирует* о поведении, словах и мыслях тамады, поскольку другой (или другие) уже сигнализировал о том, что тамада «живет не по средствам», позволяет себе двусмысленные высказывания, дерзок в мыслях и слишком уж независим в суждениях.

Бедный тамада, дни его сочтены, ждут камера, нары, допросы, допросы, допросы...

...На крупнейшей стройке — прорыв; экстренное совещание у директора; приглашены стахановцы, ударники, ведущие инженеры и конструкторы; директор не спит вторую ночь, выдвигает одно предложение за другим, держит себя лишь крепчайшим чаем, записывает предложения, спорит, соглашается, дает команды по объектам, но среди присутствующих есть тот (или та), который обязан написать отчет о вражеской деятельности директора, «намеренно»

устроившего этот прорыв, — тайный враг...

Неудачники мстят талантам.

Скряги — щедрым.

Глупцы — умным.

Уроды — красивым.

Лентяи — тем, кто наделен инициативой, смелостью и сметкой.

Однако мир устроен так, что порой умный становится злейшим врагом умного — ревность, соперничество; щедрый — щедрого; сметливый — сметливого (конкуренция, несовместимость характеров); талант вступает в борьбу с талантом — порой это следствие продуманной провокации, никто еще не отменил римское «разделяй и властвуй» — союз талантов опасен властям предержащим; порой, впрочем, за этим стоят разность идейных позиций, комплексы, влияние жены (мужа, матери, брата); воистину именно благими намерениями устлана дорога в ад.

...Посмотри со стороны, как дружески беседуют в ресторане «Москва» седой щеголеватый полковник с орденскими колодками (щеки запали, лицо в рубленых морщинах, видно, недавно из госпиталя) и краснолицый веселый крепыш в поношенном костюмчике, глядящий влюбленными, сияющими глазами на своего военного

товарища!

Исаев и Иванов, они же Штирлиц и Аркадий Аркадьевич, они же Юстас и генерал; на самом же деле — зэк Владимиров и полковник МГБ Влодимирский; преследуемый и преследователь.

Аркадий Аркадьевич что-то говорил, весело смеялся, но Исаев сейчас не слушал его, вспоминая Сашеньку, ее сияющее лицо: «Нашего Санечку тоже привезут в Сочи? Ты запомнил: моя палата — тринадцатая?! Я люблю эту цифру! Ты напишешь мне? Я буду сочинять тебе письма в стихах, любовь!» — и уже за минуту перед тем, как поезд тронулся, трагичное и беспомощное: «Максимушка, поверь, доктор Гелиович ни в чем не виноват, это какая-то непонятная, недостойная интрига... Если сочтешь возможным, пожалуйста, помоги... Почему ты не хочешь взять ключи от дома? Я понимаю, у тебя теперь своя квартира, но, может быть, Санечку привезут раньше, он сразу пойдет на Фрунзенскую...»

Исаев резко потер лоб, выступали красно-багровые полосы; чуть поднял руку, словно бы прося слова.

Аркадий Аркадьевич еще ближе придвинулся к нему:

— Что, товарищ полковник?

— Этот доктор... Гелиович... Там можно что-то поправить?

— Я разрешу вам присутствовать на беседе с ним... И самому задавать вопросы... любые... От вас будет зависеть, как поступить...

...Исаев помнил их разговор с Аркадием Аркадьевичем (как только они ушли с перрона Курского вокзала) практически дословно; он попросил, чтобы в ресторан поехали на метро: «Я ведь ни разу в жизни не видел этого чуда». «На метро так на метро», — Иванов согласился легко, чувствовал себя иначе, чем в кабинете, и совсем не так, как во время первого выезда в город.

Заговорил Иванов не в вагоне; во-первых, Исаев завороженно смотрел на станции, людей, нежно улыбался шумным детишкам (кадык *елозил*, но глаза оставались сухими), а во-вторых, ждал *одиночества*, которое и наступило, когда они вышли на станции «Охотный ряд».

— Отвечаю на ваш давешний вопрос о том, с кем я, — по-прежнему весело улыбаясь, но явно эту улыбку *играя*, начал Аркадий Аркадьевич, чуть понизив голос. — Раньше не мог, *служба* наверняка смотрит за вами, взаимная перепроверка, особенно в метро, там бежать легче, толпа, пневматические двери... Итак, я

считаю Сергея Сергеевича и прочих — кроме Рата, он талантливый опер, — подонками, которые компрометируют высокое звание чекиста. Они пришли в аппарат недавно, вместе с новым министром Абакумовым. Почему с этого поста оттерли Лаврентия Павловича? Потому что он сохранил Родине маршала Рокоссовского и маршала Мерецкова — обоих должны были расстрелять, пытали в подвалах, подвергали чудовищным мучениям... Они не падали в обморок, — вдруг ожесточившись, заметил Аркадий Аркадьевич, — от того, что сидели недвижно на стуле! Их били металлическими прутьями, ясно?! Берия сохранил Родине авиаконструктора Туполева, министра Ванникова, который потом снабжал фронт «катюшами»... Он реабилитировал десятки тысяч ленинцев — практически всех, кого не успел расстрелять мерзавец Ежов... Думаете, не питай я к вам уважение за ваши подвиги и не доложи Берия, вас бы не истязали?! Еще как бы истязали... Словом, ситуация не простая... Попытка отодвинуть товарища Берия от непосредственного руководства органами произошла под воздействием чьих-то темных сил. Чьих? Не знаю. Но намерен узнать. Я не один в этом желании. То, что я вам сейчас сказал, — основание

для моего расстрела без суда и следствия. Если хотите помочь мне... нам... свалить мерзавцев — включайтесь в работу... Да, да, сидя на *даче* или в камере — если я решу, что так угодно нашей борьбе... Если вздумаете играть на этом моем признании — вас убьют вместе со мной. Точка! — прервал он себя. — Все, забыли! Говорим о меню, вине и женщинах... И еще о фюрере... Меня очень интересуют взаимоотношения Гитлера с его окружением в начале их движения; честно говоря, национал-социализм, его рождение и развитие мы прошляпили. Информации — серьезной и объективной, если хотите, бесстрашной — у нас практически не было. Стол в ресторане, скорее всего, *оборудован*, поэтому информацию дозируйте... И засадите фразочку: «О каких-то эпизодах — Гитлер заложил фугасы под будущее — я доложу только товарищу Сталину... Лично...»

— Скажите, — задумчиво спросил тогда Исаев, словно бы не услыхав его, — а если бы товарищ Берия приехал в Москву в тридцать пятом году, процесса Каменева не было бы? Каменева с Зиновьевым не расстреляли бы?

Аркадий Аркадьевич долго молчал, улыбка с лица сошла:

— На это я ответить не в силах... И не потому,

что боюсь. Просто — не знаю. Я, честно говоря, вопросы о прошлом себе не ставлю... Думаю о будущем, чтобы не повторился, упаси господь, тридцать седьмой...

— Спасибо за честность, — ответил Исаев. — Переходим к меню, вину и женщинам...

— Слушайте, Всеволод Владимирович, — покончив с солянкой, спросил Иванов, — а вы когда-нибудь фюрера вблизи видели?

— Что значит «видел»? На съездах партии, на приемах, в Байрёйте — во время вагнеровских фестивалей — много раз... Лично у него на докладе не был. Но ведь служба составляла каждый день материал: о том, кто его посетил, о чем шла речь, реакцию Гитлера на тех, кто был удостоен аудиенции, слежка за этими людьми... Так что кое-какую информацию о нем в здании на Принц-Альбрехтштрассе при желании можно было получить... с трудом, но — можно.

— Эти *материалы* докладывали Гитлеру?

— Судя по тому, что обрабатывали их на нормальной машинке, — нет... Только то, что печаталось на «Ундервуде» с большими литерами, шло к нему тут же, с фельдъегерем...

— А кто получал материалы с нормальным шрифтом? Гиммлер?

— Конечно.

— А еще?

— Гесс, «брат фюрера», их не получал... Он вообще не жаловал *службу*, всегда подчеркивал, что государством арийцев правят не штурмовики или военные, но рабочий класс и бауэры...

— Кто? — Аркадий Аркадьевич не понял. — Сторонники Бауэра?

— Вы имеете в виду социал-демократа Бауэра? — Исаев не считал нужным скрыть усмешку. — Все социал-демократы, кто не успел сбежать, сидели в концлагерях, они ни разу не пошли на компромисс с нацистами... «Бауэр» — это «крестьянин»...

— А Борман? — спросил Иванов, пропустив замечание Исаева о социал-демократии. — Ему такие материалы отправлялись?

— Не думаю... Он бы обернул это против Гиммлера: «фюрер, за вами следят»...

Аркадий Аркадьевич хохотнул:

— И назавтра бедолагу в пенсне шлепнули бы в подвале...

Исаев покачал головой:

— У вас неверное представление о партийном механизме рейха... Вы знаете, кто был самым сильным противником фюрера?

— Как это «кто»? Коммунисты...

— И социал-демократы. Не сбрасывайте их со счетов, — повторил Исаев. — Думаю, что в обозримом будущем именно они станут ведущей силой на Западе... Впрочем, это одна из тех тем, которые я готов изложить лишь товарищу Сталину, боюсь, другие меня не смогут понять из-за въевшихся стереотипов... Но я не об этом, — заметив восторженную улыбку Аркадия Аркадьевича, Исаев молча кивнул, подчеркивая этим, что он выполнил просьбу «генерала Иванова». — Я имею в виду другое... В двадцатых годах самым грозным противником фюрера был Геббельс...

— Тот самый?! — искренне поразился Аркадий Аркадьевич.

— Именно... А гауляйтера Коха помните? Руководителя областной парторганизации в Кёнигсберге? Одного из ветеранов... нацизма?

— Не просто помню... Мы с ним работали — вместе с поляками... Молчит, сволочь...

— А вы знаете, что именно этот «друг фюрера» в двадцатых годах бросил лозунг: «В нашей рабочей партии решает большинство, а не папа! Долой партийных императоров, да здравствует национальная революция социалистов!» А кто его поддержал? Геббельс. Это было, если мне не

изменяет память, в конце двадцать пятого... Так вот, он тогда прямо-таки заорал во время совещания, созванного истинным создателем партии Грегором Штрассером: «Я предлагаю исключить из рядов национал-социалистической рабочей партии Адольфа Гитлера как мелкого буржуа, пробравшегося в наши ряды! Мы — партия рабочего класса и трудового крестьянства! Мы не вправе терпеть в своих рядах ни социал-демократических, ни буржуазных элементов!»

Аркадий Аркадьевич слушал завороженно, даже папироску не решался закурить, хотя Исаев видел, как рука его то и дело тянулась к открытой пачке «Герцеговины Флор»...

— Да вы курите, — сказал он. — И я закурю, если разрешите...

— Бога ради, Всеволод Владимирович! Водочки не хотите? Рюмашку?

— Обвалюсь... Тащить придется... На ваших харчах человек только что не умирает... И язык начнет заплетаться... Давайте выпьем, когда я переберусь на свою квартиру...

— Тоже верно, — согласился Аркадий Аркадьевич, — я водку ненавижу, а пить приходится, особенно на приемах — дело есть дело... Ну и что потом?

— А через полгода Геббельс переметнулся к Гитлеру: тот посулил ему пост гауляйтера всех парторганизаций Берлина... И судьба Штрассера была решена...

— Погодите, погодите, тут что-то не сходится, — возразил Аркадий Аркадьевич. — Штрассера расстреляли в июле тридцать четвертого года, а вы говорите про двадцатые...

— Все сходится, — Исаев вздохнул. — Гитлер планировал комбинации против тех, кого считал недругами, не на год вперед, а на десятилетия... Думаете, он перед гибелью не заложил фугасы под будущее? Думаете, он ушел просто так, завещая лишь бить евреев? Не-ет, Аркадий Аркадьевич! Его фугасы так страшны, так изощрены, что и представить себе трудно...

— Какие именно?

— И это я готов открыть Иосифу Виссарионовичу. Только ему. После моей реабилитации... Никому другому, кроме товарища Сталина...

Иванов удовлетворенно, кивнул, изумленно покачав при этом головой: «Ну и работа, ну и профессионал!»

— А что же было со Штрассером после того, как Геббельс переметнулся?

— Ничего... Гитлер передал в его ведение

орготдел НСДАП, ключевой пост; с тех пор все назначения и перемещения гауляйтеров готовил именно Штрассер. Но, утверждая назначение, Гитлер — в присутствии всего руководства партии — заметил: «Я согласен с критикой моих товарищей: нам не нужно императоров и пап, все вопросы решаем большинством! Меньшинство подчинено железной воле, выраженной *массой*». И Штрассер был вынужден проводить решения, которых он внутренне не принимал, но подчинялся им как фанатичный ветеран. А как это было выгодно первому лицу?! Он делал то, что ему выгодно, чужими руками!

Аркадий Аркадьевич ничего не ответил, попросил официантку принести ему рюмку водки, снова закурил:

— Ничего этого в наших информациях не было...

— А знаете, кто спас Гитлера от самоубийства?

— Какого?! Когда?!

Исаев испытующе посмотрел на собеседника:

— Если вы играете незнание, я рано или поздно пойму это...

— Клянусь детьми! Только... Всеволод Владимирович, пожалуйста, не говорите больше «национал-социалистическое» государство... У

нас принято писать «фашистское» или, по крайней мере, «национал-социалистское»...

— Такого слова ни в немецком, ни в русском языках нет, — отрезал Исаев. — Так вот, после того как любовь фюрера, Гели Раубаль, сказала, что уходит от него, и ее за это убили из маленького пистолетика, любимого пистолетика фюрера, тот чуть не помешался... И Грегор Штрассер просидел с Гитлером, никому не отпирая дверь его квартиры, два дня... И спас его, черт возьми, от того, чтобы тот не пустил себе пулю в лоб... А вот разрыв между фюрером и Отто Штрассером, младшим братом Грегора, руководившим прессой, которая атаковала фюрера слева, произошел после того, как Гитлер принял в партию и приблизил к себе сына свергнутого кайзера — принца Августа-Вильгельма... Это было явным предательством первой программы партии, в которой говорилось, что представители эксплуататорских классов никогда не будут приняты в ряды национал-социалистов... И брат создателя партии, Отто, опубликовал в газете лозунг: «Истинные национал-социалисты должны покинуть «партию» Гитлера»... Несмотря на это, вторым человеком в партийном аппарате продолжал оставаться Грегор... Это, кстати, ошибка

— считать всех членов партии Гитлера ублюдками и кретинами... Вначале там было довольно много идейных людей... Странно, что у вас нет информации о Штрассерах, я же посылал вам шифровки из Лиссабона, когда Шелленберг взял меня с собою для организации убийства Отто Штрассера... Тот вовремя уехал из рейха, поэтому и уцелел... По приказу фюрера в РСХА был создан специальный отдел «террора» — для убийства Отто Штрассера, одного лишь Штрассера, представляете?! Он, кстати, жив, скрывается где-то в Канаде... Слыхали о его «Черном Интернационале»? Он создал его в эмиграции, в пику фюреру...

— Очень мало...

— Если у вас в архиве есть европейские и канадские газеты, я готов подобрать досье... Любопытно: у него было все, как и у Гитлера, только без призывов к антисемитизму, перекройке карты мира и войне... все остальное — калька, одно к одному: равенство, экспроприация банков и крупных заводов, права рабочим и ба... крестьянам...

— У меня хорошая память, — заметил Аркадий Аркадьевич. — Могли бы говорить «бауэры» — врезалось навечно. — И он сладко, как-то по-особому, тягуче, выпил принесенную офици-

анткой водку; не закусывая, сразу же закурил, вновь выжидающе приблизившись к Исаеву.

— Если бы не Геббельс, — продолжил Исаев, — возможно, Грегор Штрассер не был бы расстрелян... Однажды Гиммлер показал Гейдриху фотографии черновиков речей Геббельса... Тот рассказал Шелленбергу, ну а этот поделился со мной... Геббельс переписывал каждую страницу раз по восемь... Сам вставлял пометки: «здесь нужны аплодисменты»... Или: «тут — драматическая пауза, чтобы началась овация», или: «резкий взмах рук, отчаяние на лице — неминуемы возгласы поддержки»... У него в «особой команде» было тридцать человек, которые рассаживались в разных точках зала, где выступал хромой, и организовывали толпу, начиная овации и выкрикивая слова поддержки в запланированных местах... Их потом всех расстреляли... В ту же ночь, когда убили Штрассера и Рэма... И еще одного человека шлепнули, без которого Гитлер бы вообще не состоялся, — господина Штемпфле; то ли пастор, то ли расстрига; он переписал всю «Майн кампф» — от начала до конца... Гитлер ведь провел две волны чисток: в тридцать четвертом и тридцать девятом... Он приказал имитировать покушение на себя, чтобы обвинить в этом «ан-

глийских шпионов» — их руками в пивном зале были убиты самые *памятливые* ветераны, их заботливо посадили в первые ряды, поближе к трибуне фюрера, но тот быстро уехал, а эти через двадцать минут превратились в куски мяса... Ничего, а? Кстати, стенограммы бесед Гитлера с Брайтингом у вас сохранились?

— Не слыхал. Кто это?

— Вполне порядочный консерватор, редактор одной из немецких газет... Фюрер был заинтересован в нем... Тридцать первый год, кризис в партии, финансовый крах — нужна реклама... Вот он и пригласил его для интервью... Когда Брайтинг спросил фюрера, как можно идти к власти с кровавыми призывами Геббельса и Розенберга, которые требуют немедленно повесить всех марксистов и евреев, Гитлер ответил: «Лес рубят — щепки летят... Я не хочу скрывать: придя к власти, мы покажем, сколь тверда наша рука... Но мы не собираемся вешать на телеграфных столбах всех богатых евреев, чушь... Это всего лишь пропагандистский ход Геббельса и Розенберга, не судите их строго, они дают нации лозунги, которые угодны эксплуатируемым и голодным... Однако правда такова, что после победы мы будем приказывать, а немцы беспрекословно

слушаться! Низы подчиняются, верхи правят! И Геббельс позаботится, чтобы девяносто девять процентов нации восторженно поддержали нашу политику! Печать будет мобилизована на службу обществу... Каждый будет призван к ответственности — в соответствии с законом!» Неужели не читали? — удивился Исаев. — По-моему, часть этих материалов была опубликована в Лейпциге в тридцать первом... И это у *нас* не переводили?

— В тридцать первом я занимался коллективизацией, Всеволод Владимирович... В органы пришел только в тридцать седь... Нет, в конце тридцать восьмого, по набору товарища Берия, когда мы раз и навсегда покончили с ежовскими нарушениями законности.

...На этот раз в здание МГБ они вошли через подъезд; Иванов показал удостоверение, бросив охране:

— Товарищ со мной, на него есть пропуск.

Когда вошли в его кабинет, со стульев поднялись три человека: двое были в форме, а один, сутулый, седой, лохматый, — без пояса; губы синие, глаза запавшие, но живые, мочки ушей оттянуты, увеличены — значит, болен.

— Это Гелиович, — пояснил Иванов. — Тот самый... Можете допросить его.

— Я бы хотел поговорить с ним один на один.

Иванов внимательно посмотрел на тех двоих, что стояли рядом с доктором, что-то, видимо, понял — то, чего Исаев понять не смог, и поинтересовался:

— В гестапо такую просьбу, учитывая специфику нынешней ситуации, удовлетворили бы?

— Нет, — ответил Исаев.

Иванов кивнул; обратился к военным (капитан и подполковник):

— Ну что? Пойдем походим по коридору, а?

Когда дверь за ними закрылась, Исаев спросил:

— Вы знаете, кто я?

— Вы очень похожи на Сашенькиного мужа... Там много ваших фотографий... Все, правда, размножены с одной...

— Где это «там»?

— У Сашеньки. На Фрунзенской...

— Как вас зовут?

— Яков Павлович.

— В чем обвиняют?

— В шпионаже и антисоветской пропаганде.

— В пользу кого шпионили?

— Я не шпионил... Эти доллары остались в наследство от моего дяди... Его брат уехал в Америку перед революцией... А когда ввели Торгсин, он

перевел доллары, тогда разрешалось...

— С вашими доводами согласились?

— Да.

— Значит, обвинение в шпионаже отпало?

— Да.

— Вы действительно занимались антисоветской пропагандой?

— Да.

— В чем это выражалось?

— Я хранил и давал читать другим книги врагов народа...

— Кого именно?

— Троцкого и Бухарина... Будь проклят тот день, когда я получил эти книги...

— От кого вы их получили?

— От профессора Шимелиовича...

— Кто это?

— Главврач Боткинской больницы.

— Почему он их вам дал?

— Потому что мы с ним очень дружили.

— В книгах есть призывы к антисоветским действиям?

— Я... Почему вы говорите так? Зачем? Не надо, пожалуйста! Я же признался во всем... Пощадите меня, я же хотел Сашеньке только добра! Она бы погибла иначе, — Гелиович заплакал. — Если

бы вы только видели ее в сорок шестом! Если бы видели... Она никогда не любила меня... Я был вашей тенью... Она всегда любила только вас...

— Вас пытали?

Гелиович в ужасе откинулся на спинку стула:

— Что?! Зачем?! Почему вы так говорите?! Я не хочу!

— Как я говорю? Я просто спрашиваю: вас пытали?

— Нет. Со мной... Меня не пытали... Наши органы никого не пытают...

— Тогда отчего вы признались в том, чего не было?

— Было! — истерично закричал Гелиович. — Я во всем признался! Было!

— Ни в «Азбуке коммунизма» Бухарина, ни в книге Троцкого «Октябрь», которые вы хранили, нет антисоветской пропаганды. Один автор — член Политбюро и наркомвоенмор, другой — редактор «Правды» и член ЦК, чушь какая-то...

— А я категорически повторяю, что меня никто не бил! — снова закричал Гелиович.

— Я говорю с вами как друг, доктор... Я... Я благодарен вам за Сашеньку... И хочу вам помочь... Вы говорите, что вас не пытали... И что вы сами признались в антисоветской деятельности... Вы

знали, что идете на *преступление*, прятав у себя книги Троцкого и Бухарина?

— Все советские люди знают, что это преступление... Значит, и я должен был знать...

— Почему вы зашили эти книги в матрац моего сы... Почему вы так тщательно прятали литературу, изданную в Советском Союзе?

— Что вам от меня надо? — прошептал Гелиович. — Ну что, объясните?! Я никогда не откажусь от признания, которое карается восемью годами! И ни днем больше!

— Вас сломали, — сказал Исаев. — Вы просто боитесь мне открыть правду, потому что знаете: нас здесь подслушивают... Закатайте рукава! Быстро!

Исаев подскочил к нему, думая, что именно сейчас-то в кабинет ворвутся; никто, однако, не ворвался. Руки Гелиовича не были исколоты; человек в своем уме, воля не парализована. А если кололи в ноги? Нет, его не кололи... Судя по тому, как он вскинул кисти, чтобы закрыть лицо, когда я бросился к нему, его просто били... Человек идеи обязан выдерживать все, а этот несчастный, которому пообещали сохранить жизнь, подписал с ними договор на верность... А Иван Никитич Смирнов, спросил себя Исаев, член Реввоенсовета, большевик с девятьсот первого года? Почему

он все признал на процессе Каменева? Испугался побоев? Не верю. Накололи черт те чем? Тоже не верю, какие-никакие, но ведь зрители были в зале суда, они бы заметили психическое нездоровье подсудимого! Лион Фейхтвангер писал в своей книге «Москва, 1937», что Пятаков, Радек и Сокольников вели себя как совершенно нормальные люди, порою даже шутили, переговаривались друг с другом, отрицали пытки, хотя могли прокричать об этом... Ведь Радек лично знал Фейхтвангера, сказал бы ему по-немецки, все б полетело в тартарары и сделалось очевидным: спектакль, термидор, антиленинский путч! Почему не прокричал? Ладно, сломали, не знаю еще как, но их сломали... А люди?! Зрители?! Если завтра на скамью подсудимых выведут Клима Ворошилова и тот начнет признаваться, что был гестаповцем, этому тоже поверят?!

Исаев ужаснулся вопросу, потому что растерялся, не зная, что ответить. Если поверят, тогда стоит ли вообще жить? Во имя чего? Значит, над народом тяготеет трагический рок; такова наша судьба. Нет, возразил он себе с какой-то испугавшей его настороженностью, просто мы единственное государство, которое на протяжении веков было лишено самого понятия «Закон»

и права на Слово.

— Если бы вы признались, что вас пытали, — устало сказал Исаев, подойдя к окну, — честное слово, мне было бы легче помочь вам...

И вдруг Гелиович рассмеялся:

— Да? Это как же? Предали б суду моих палачей?

Не оборачиваясь, Исаев ответил:

— Попробовал бы, во всяком случае... Я ведь такой же зэк, как и вы...

Гелиович поднялся:

— Отойдите-ка от окна, разрешите мне все кончить разом...

— Здесь непробиваемые стекла, пластик, — ответил Исаев. — Только шишку набьете.

— Помогите! — вдруг истошно, тонко закричал Гелиович. — Товарищ капитан, спасите! Помогите! Я больше не мо-о-о-гу!

Никто не вбежал в кабинет, было так тихо, что ломило в ушах.

— Простите, — сказал Исаев, отошел от окна и сел на стул рядом с Гелиовичем. — Я не скажу больше ни единого слова. Простите...

И он опустил руки между ног точно так, как Гелиович; фигура *отчаяния*, кто только ее изваял?

...Когда Исаева вывели из кабинета, Влоди-

мирский, он же генерал Иванов, он же Аркадий Аркадьевич, обнял «Гелиовича».

— Спасибо, Шурка!.. Ты сыграл гениально! Поезжай на Рижское взморье, — он протянул ему пачку купюр, — и отдыхай как следует... В клинику мы позвоним, мол, служебная командировка... Готовься к новому делу, брат... Громчайшее дело, такого еще у нас с тобой не было...

...В Сочи Сашеньку встретил разбитной парень, подхватил ее фибровый чемоданчик, сказал, что Максим Максимович просил встретить у вагона: «С автобусами мучение, очереди, а я вас вмиг домчу».

В санатории ее приняла сестра в халатике, накрахмаленном до голубизны, померила давление, покачала головой: «Маловато, товарищ Гаврилина, размещайтесь, ваш муж попросил устроить для вас отдельную палату. Вообще-то у нас живут по два-три человека, но его просьба для нас — честь. И сразу пойдем к доктору».

Сашенька вошла в маленькую комнатку, открыла дверь на балкон и увидела зеркальную гладь моря; солнце было совершенно белым, окруженным желто-красным ореолом; жестяно, как-то игрушечно шелестела листва пальм.

Сашенька опустилась в плетеное креслице и

сразу вспомнила строки: «Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню и буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучило «вчера» и не томили цепи долга...»

Она сняла жакетик, подумав, что сейчас ляжет спать и не проснется до завтрашнего утра, а когда проснется, будет новый день, она сядет к столу и напишет огромное письмо — сначала Максимушке, потом Санечке...

В дверь постучали:

— Открыто, — тихонько откликнулась она: в тюрьме соседки приучили ее к *тишине*. Боже, какие страшные женщины, меня нарочно посадили к этим проституткам и бандитским наводчицам, я ведь была готова на все, только б перевели к интеллигентным людям...

Вошла давешняя сестра и с прежней доброй, сострадающей улыбкой пригласила ее на осмотр.

Вид доктора поразил Сашеньку: по-ришельевски закрученные усы, бородка, грива седых волос, ниспадающих на плечи, и пенсне, болтающееся на черном шнурке.

— Наслышан, наслышан, — скаля чуть выпирающие желто-прокуренные зубы, быстро заговорил он. — Вопросов не задаю, приучили пациенты... Но, голубушка, что это у вас за давление?

Девяносто на шестьдесят! Я вас просто выпишу из санатория с таким давлением, — довольно расхохотался врач. — Помрете вы, а отвечать за вас кому? Мне, старому дураку Евгению Витальевичу Рыбкину, честь имею...

— Как замечательно вы говорите, — Сашенька сидела по-тюремному, заложив руки за спину, — совершенно забытый русский... Так говорил мой отец...

— Жив-здоров? Или почил?

— Не знаю... Мы потеряли друг друга во время гражданской.

(О том, что отец ее эмигрировал в Америку, не знал никто, кроме Максимушки. Раньше это было не так страшно, а сейчас...)

— Нуте-с, давайте я сам померяю давление, а потом послушаю вас... С легкими все в порядке? Туберкулеза не было?

— Нет. Так мне, во всяком случае, кажется.

Послушав Сашеньку, Евгений Витальевич сокрушенно покачал головой:

— Вы кто по профессии, голубушка?

— Учитель.

— Историк?

— Нет, литератор. Почему вы решили, что я историк?

Евгений Витальевич надел на нос пенсне, глаза стали сразу же иными, жесткими, ответил с ухмылкой:

— Самый трудный предмет... Особенно история нашего государства... *Неправда* точит... Ладно... Сие — российское горестное теоретизирование, взгляд и нечто... Начнем мы с вами курс лечения вот с чего, голубонька... Массаж с самого раннего утра. Потом полчаса отдыха и нарзанная ванна... После нее — в кроватку... До обеда. Засим спать... Мертвый час... Не менее ста двадцати минут... После мертвого часа возьмем грязь — и в кроватку... На этот раз до утра...

— Какое страшное словосочетание «мертвый час», — сказала Сашенька. — Отдых, лечение, санаторий, *мертвый час*...

— Все претензии к космополитствующим лекарям, — раздраженно ответил доктор. — Притащили из-за границы это определение, совершенно с вами согласен, нелепо и страшновато...

— Евгений Витальевич, получается так, что я и к морю сходить не смогу?

— Голубушка моя, да вы и не дойдете! — Евгений Витальевич чуть повел носом, и пенсне легко соскочило на грудь; глаза снова сделались милыми и чуточку растерянными. — Сначала я

вас укреплю, витаминчиками поколю, а потом гуляйте хоть весь день! Кстати, извините, но я обязан вас спросить: что это у вас на спине за шрамы?

Сашенька ответила так, как посоветовал следователь:

— Я была в плену у беляков... На Дальнем Востоке... это следы нагаек...

— Партизанили? — Евгений Витальевич снова надел пенсне.

Сашенька растерялась, к этому вопросу ее не готовили:

— Нет... Так уж случилось...

— Первая женщина, которая не умеет лгать, — сурово заметил доктор. — Поздравляю *себя* с такого рода открытием... И еще вот что, голубушка... На ночь вам будут давать чернослив и маленькую рюмочку коньяку, я бы не хотел травить вас бромом...

Сашенька покачала головой:

— Я только и мечтаю, как бы отоспаться... Мне ни бром не нужен, ни коньяк...

— Тут с врачами не спорят, голубушка... Коньяк придаст вам бодрости, улучшит аппетит...

— Я такая голодная, что готова есть по пять раз в день!

— Простите, вы москвичка?.. Там же хорошее обеспечение... Что, держали диету?

— Да... Хотела вернуть форму... Чуть перестаралась...

...Коньяк, который ей приносили, выливала в рукомойник; через неделю почувствовала себя окрепшей; иногда, правда, вскидывалась ночью и тонко кричала от ужаса: грезилась камера и эти ужасные женщины, которые лезли к ней на нары. Доктор разрешил прогулки; она уже написала четыре письма Максиму Максимовичу и три Санечке; не отправляла, мечтала сфотографироваться, когда не будет такой страшной.

Портрет получился на удивление хорошим, но, как ей показалось, с ретушью.

Когда она сидела, рассматривая свои портретики, в дверь постучали.

— Открыто, — ответила она, думая, что пришла сестричка с витаминами.

На пороге, однако, стоял мужчина в штатском, но с военной выправкой.

— Разрешите, Александра Николаевна? — спросил он. — Не помешал отдыху?

Сердце ее сжалось на какое-то мгновение, но сразу же отпустило, потому что мужчина, державший руки за спиной, переступил порог комнаты

и протянул ей два роскошных букета:

— Гвоздики — от меня, розы — от Максима Максимовича, от сына — радиограмма...

Она схватила радиограмму:

> «Дорогая мамочка, примерно через две недели прилечу в Москву. Я тут хворал, бронхит, но меня поставили на ноги. Новый адрес папы знаю. Остановлюсь у него. Отдыхай как следует, родная. Целую, *Саня*».

Сашенька почувствовала, что расплачется, поднялась:

— Спасибо вам огромное...

И начала приспосабливать вазочки для цветов, незаметно утерев при этом слезы. Это дурно — позволять кому бы то ни было видеть в тебе то, что принадлежит только тебе, и никому больше.

— Александра Николаевна, — продолжал между тем мужчина, — я, видимо, огорчу вас, но меня уполномочили сообщить следующее: полковник Исаев срочно вылетел за границу... С заданием Правительства Союза ССР... Он очень волнуется за ваше здоровье... У нас есть возможность передавать ему ваши письма...

— Что?! Значит, он снова исчез?! Надолго?!

Опустив глаза, человек тяжело вздохнул:

— На два года... Поэтому, пожалуйста, напишите как можно больше писем... И ставьте на них разные даты: ноябрь, декабрь, январь... Понимаете?

— Я читала такой рассказ...

— Какой?

— Как умирающий писал письма своему самому близкому человеку, и тот получал их десять лет, уже после смерти того, кто... У меня плохие анализы? Туберкулез? Язва?

— Как не совестно, Александра Николаевна! Лечащий врач сказал, что вы резко пошли на поправку... Просто когда человек работает за границей, он мучительно волнуется за своих, понимаете? Если мы передадим ему все письма скопом, без дат, он может занервничать — там, среди врагов, быстро учишься трагическому недоверию... По отношению ко всем. Увы, порою даже к своим: мол, не хотят говорить правду о ее здоровье...

— Когда вернется мой сын?

— Я не знаю...

— Вы не читали этого? — она указала глазами на радиограмму.

Посетитель нескрываемо удивился:

— Но ведь это адресовано вам! Я не смел читать вашу корреспонденцию...

— Максим Максимович ничего не написал мне перед отъездом?

— Его письмо ждет вас в Москве. По законам конспирации это нельзя отправлять по почте. И еще просьба... Не надо называть его в письмах по имени... Он сказал, что вы знаете, как называть его...

«Любовь, как я счастлива, что и это мое, зимнее уже, письмецо попадет в Ваши руки, такие сильные, сухие, нежные... Помните, Вы рассказывали, как Вам гадала судьбу цыганка, на берегу бухты, в дни золотой осени, когда солнце появлялось лишь в девять, а жарким становилось к полудню? Я всегда помню ее слова, вы их дважды повторили: «Берегись старика усатого, он зло на тебя таит, и уж если кто и погубит — так он...» Нет ли среди ваших нынешних друзей злых и усатых стариков?

...Женщина — это музыкальный инструмент, но музыку из него умеет извлекать только великий композитор, а компози-

тор — это высшая тайна мира... Вы — моя любимая и нежная тайна (только сильные люди, в чем-то суровые и закрытые, умеют быть нежными по-настоящему).

Кто-то рассказывал мне, что даже большие музыканты достают из своего архива музыкальные фрагменты прошлых лет, проигрывают мелодии других мастеров, видоизменяют их, и из этого рождается гармония. Я не поверила, потому что говорить о творчестве (любовь — это творчество, контролируемое дисциплинированной логикой, не смейтесь, это правда!) как о некоей механической работе — нечестно, в этом есть что-то от мелкой зависти несостоявшейся бездари, мечтавшей проявить себя в искусстве.

Вы же никогда не пользовались архивом и не искали своего аккорда в чужих мелодиях, Вы всегда были самим собою... Как это редкостно в наш век... Я счастлива, что мне выпало быть с Вами. Ведь порою даже одна встреча остается в тебе на всю жизнь, и ты близко видишь каждую ее подробность, явственно слышишь слова, четко, словно это было вчера,

помнишь свои ощущения. А с другими людьми встречаешься ежедневно, говоришь, смеешься, печалишься, веришь, сомневаешься, но все это проходит сквозь тебя, мимо, мимо, мимо...

Кто-то сказал: «Надо уметь строить отношения...» Это проецировалось на мужчину и женщину. Строить можно сарай, но не отношения. Либо они есть, либо их нет... Иногда я с ужасом спрашивала себя: «А если бы мы с Вами всегда были вместе? Если бы провели под одной крышей не те прекрасные месяцы, что подарила судьба, а долгие годы?» Ведь все кругом уверяют, что рано или поздно любовь становится *бытом*... Наверное, самое страшное — это разрешить себе привыкнуть к счастью, которое есть любовь. Представьте себе, если бы к верующей бабульке пришел Христос и сказал: «Матушка, я хочу пожить у вас...» Как бы она, верно, была счастлива! Но Христос ведь не мог без людей, он служил им, и через год бабульке сделалось бы трудно терпеть множество гостей в своей маленькой избеночке... Неужели она бы перестала видеть в нем

чудо и стала бы просить его пораньше заканчивать свои проповеди, не оставлять на ночь паломников и не забывать колоть дрова для печки... Неужели кратковременность счастья есть гарантия его постоянности? Но ведь это несправедливо! И я возражаю себе: не нам судить о справедливости, это понятие в людях субъективно и *мало*. Только высший суд определяет правоту человеческую: Кукольник умер, осиянный славой и любовью публики, а Пушкина тайком увезли на скрипучих дрогах в могилу, но кто *остался*?!

Вспомнила стихи. Увы, не мои. Вы знаете, чьи они. В них ответы на многие вопросы, которые живут во мне постоянно: «Я жду, исполненный укоров, но не веселую жену для задушевных разговоров о том, что было в старину. И не любовницу: мне скучен прерывный шепот, томный взгляд, и к упоеньям я приучен, и к мукам горше во сто крат. Я жду товарища, от Бога в веках дарованного мне за то, что я томился долго по вышине и тишине. И как преступен он, суровый, коль вечность

променял на час, принявший дерзко за оковы мечты, связующие нас...»

Как прекрасно это, как избыточно: «Принявший за оковы мечты».

Не в этом ли разгадка всех споров о том, что такое любовь? Не оковы. Мечты.

Любовь, у меня все очень хорошо, веду класс, Санечка чувствует себя прекрасно, начал занятия в университете.

Я отмечаю каждый день в календарике не потому, что он прошел, а оттого лишь, что он приблизил меня к Вам.

И еще... Когда я отдыхала в санатории, спасибо Вам за это, лечащий врач сказал: «Бытие человеческое расписано, словно медицинские процедуры, особенно бытие женщины: сначала влюбленность, потом близость, затем пресыщение и переход в новое физиологическое качество — продолжение рода; ребенок, иная форма нежности, новая ее сущность; разрыв между иллюзиями поры влюбленности и прозой пеленок и недосыпания, когда у продолжателя режутся зубы; постепенный перенос нежности на младенца; неосознанная ревность мужчины, роб-

кий поиск иного идеала, внутренний разрыв с прошлым; сохраняемая связь — дань долгу. Эрго — любовь убита физиологией, вечной, как мир».

Сначала я с ужасом отвергла эту теорию, столь циничесой и гадостной она показалась мне. Потом подумала, что у нас все было бы иначе. У нас не было бы оков, мы бы жили мечтою, правда? Нет. Не правда. Вы всегда жили своими «читателями»... Неужели и нас могла постичь участь всех тех, кто, по уверениям врачевателя, существует по раз и навсегда утвержденным законам физиологии?! Тогда спасение в разлуках! Они дают силу мечтать и просыпаться каждый день с новой надеждой на близкую и счастливую, хоть и недолгую, встречу...

Я надоела Вам своим раздрызганным и грустным письмом?

Не сердитесь, потому что Вы приучили меня к открытости. Вы не представляете, какой страшный бич женщины — закрытость, тайна, *думочки*... Ах, как они отвратительны! Я ненавижу их, гоню прочь, но они то и дело, словно чертики,

хихикая и зло усмехаясь, рождают в душе ужас и недоверие.

Я заклею это письмо, положу его в конверт, оденусь и пойду гулять по Кольцу, посижу на скамейке возле Пушкина, остановлюсь около Тимирязева, которого с некоторой пренебрежительностью называют «популяризатором», но ведь истинное популяризаторство есть превращение сложного в доступное всем! Это поднимает человечество на новую ступень знания, которое только и может спасти мир от ужаса... Не красота, нет... Федор Михайлович был не прав... Спасти мир красота не в силах, только Мысль и Знание — составные части Достоинства...

Любовь, я счастлива, что смогла поговорить с Вами.

Спасибо за это.

Я снова ощутила Вашу сухую ладонь с длинной и резкой линией жизни.

Как только Вы вернетесь, отдохнете у себя, жду Вас на Фрунзенской, в гости, будем пить кофе. А потом пойдем бродить... Втроем...

Храни Вас судьба, я прошу об этом каж-

дое утро и каждую ночь...»

Когда Сашенька написала девять писем, приехал тот же штатский. Темнело, луна начала серебрить море.

— Накиньте плащ, — посоветовал он, — я хочу пригласить вас на вокзал...

Она вскочила со стула:

— Приехал Санечка?!

На вокзале, однако, сына не было. Ее посадили в «столыпинку» и отправили этапом в Москву. Абакумов получил у Сталина санкцию на приведение в исполнение приговора: «высшая мера социальной защиты»; Сталин посмотрел на карандаш — цвет грифеля был красный.

15

...Больше всех на свете министр Абакумов любил свою дочь, брал ее с собою на отдых в Мисхор, жену отправлял отдельно, на Кавказ. В Кисловодске для нее оборудовали «спецномер» из двух комнат; привозили особое питание, из Железноводска три раза в день гнали «ЗИС» с теплой минеральной водой, подавали в кровать, наливая в хрустальный стакан из большого английского термоса, который в свое время прислал в подарок посол Майский.

Получив эту уникальную вещицу, Абакумов с какой-то внезапно возникшей в нем горечью подумал: «А вот снять с тебя наблюдение, запретить запись каждого твоего слова, милый Иван Михайлович, я все равно не могу... И поправить что-то в расшифрованных записях твоих разговоров с женой, Фадеевым, академиком Несмеяновым, Эренбургом, поваром Игорем (псевдоним Мечик), Антони Иденом, когда он завтракает у тебя, Рандольфом Черчиллем, когда он у тебя пьет (называется «ужин»), секретарем Галиной Васильевной (псевдоним Бубен) я лишен права.

Сталин Сталиным, но окружен-то я чужими, здесь, в этом доме...»

Впрочем, наиболее рискованные высказывания Майского, которые нельзя было утаить от Хозяина, он сопровождал замечанием:

— Порой на язык он слаб, что верно то верно, но с противником работает виртуозно. Это *перекрыто* другой информацией, товарищ Сталин. Видимо, иначе с англичанами нельзя.

Сталин пожал плечами:

— А что, Эренбург тоже англичанин? Или Майский и с ним *работает*? Он меньшевик, как и Эренбург... Только Илья рисовал карикатуры на Ленина в паршивых парижских изданиях, а Иван сидел в министрах у Колчака...

Превозмогая себя, потухшим голосом Абакумов ответил:

— Я понял, товарищ Сталин...

Сталин устало отвалился на спинку кресла, потом, испугавшись, что этот красавец, косая сажень в плечах, увидит его старческую немощь, резко придвинулся к столу:

— Ну и что же вы поняли?

— Материалов достаточно на обоих: были знакомы с Бухариным, Зиновьевым, Рыковым, Радеком, дружили с Мейерхольдом, Мандельшта-

мом, Тухачевским...

Сталин *собрал* тело, заставил себя легко подняться из-за стола, походил по кабинету, не вынимая трубки изо рта, но не куря ее, а лишь посасывая; расхаживал бодро, хотя мучительно болела вся правая часть тела и пальцы леденели. Потом наконец остановился перед Абакумовым и, не отводя рысьих глаз с постоянно менявшимися зрачками от его лица, спросил:

— Кандалы у вас есть?

— Только наручники, товарищ Сталин. У нас в тюрьмах нет кузниц: Дзержинский приказал уничтожить...

— Меня интересует: у вас с собою есть эти самые наручники?

— Товарищ Сталин, никто из входящих к вам не имеет права носить с собой не только оружие, но и любой металлический предмет... Я подтвердил это указание тридцать четвертого года новым приказом...

— Что, боитесь, Ворошилов меня саблей зарубит? — хмуро усмехнулся Сталин. — Или Молотов маузер вытащит? Он слепой, стрелять не умеет, да и от страха помрет... Зря, что не принесли с собою наручники. — Сталин по-арестантски протянул ему руки. — Вам бы меня надо первым

сажать в острог... Я ведь ближе, чем Майский и Эренбург, сотрудничал и с Бухарчиком, и с Каменевым... Он меня Коба звал, я его Левушка... Да и председатель Реввоенсовета для меня был не Иудушкой, а товарищем Троцким...

Зрачки его глаз расширились, словно после кокаина, в них была тоска и ненависть, говорил, однако, с усмешкой, лицо жило своей жизнью, только глаза ужасали, особенно бегающие зрачки.

— Ну, что ж не сажаете? Я ведь для вас *сладок*... Какой процесс можно поставить?! Жаль, хороших режиссеров не осталось...

Сталин вернулся к себе за стол, Абакумову кивнул на стул, снова пыхнул пустой трубкой (профессора Виноградов и Вовси советовали не отказываться от привычки сосать трубку, запах табака постоянен. «А если уж невтерпеж, пару раз пополощите рот *дымком*, стараясь не затягиваться. Хотя здоровье у вас богатырское, но и богатырям надо уметь себя щадить»).

— При ком в нашу партию вступил бывший меньшевик Майский? — сурово спросил Сталин, не спуская глаз с Абакумова.

Тот молчал.

Сталин отчеканил:

— При Ленине. Более того, Ленин публично перед ним извинился в прессе за какую-то неточность в своем выступлении. При ком в нашу партию вступил Вышинский, бывший террорист, меньшевик и преследователь Ильича в июньские дни? А? Что молчите? Боитесь попасть впросак? При Ленине! Ему этот вопрос докладывал Молотов, и Ленин согласился с необходимостью принять в партию грамотного юриста... Ленин не терпел сведения личных счетов со своими политическими противниками и нам это завещал... А Заславский, который назвал Ильича «немецким шпионом» и требовал суда над ним в семнадцатом? При ком он примкнул к *нам*? При Ленине... А сейчас фельетонист в «Правде»... И вот эти бывшие меньшевики громили группы Троцкого, Зиновьева и Бухарина почище многих большевиков... Те, страха ради иудейска, отмалчивались, видите ли... Хоть и были русскими и украинцами вроде Постышева или Чубаря с братьями Косиорами...

— Я понял, товарищ Сталин, — глаза Абакумова сияли, ибо Хозяин впервые так доверительно, по-отцовски, говорил с ним, не произнеся ни единого резкого слова (хоть от него все можно принять, гений). А ведь он, оказывается, брякнул

то, что Сталину совсем не по душе...

— Ну и что вы поняли? — глаза внезапно изменились, в них появилось доброжелательство. — Что вы поняли? — повторил Сталин.

— Я сниму наблюдение с товарища Майского...

Сталин начал раскуривать трубку.

Абакумов вдруг с ужасом вспомнил показания сына Троцкого, Сергея Седова. Тот с отцом уехать отказался, большевик, военный инженер, патриот державы, был расстрелян в тридцать седьмом, а сначала сидел в Сибири. Перед казнью пришел приказ Ежова поговорить о его житье-бытье в Кремле. Квартира Троцкого была неподалеку от сталинской, *сыночек* тогда такое порассказал... Особенно врезался в память эпизод: «Я очень дружил с Яшей Сталиным, он у нас порою ночевал... Отец бил его смертным боем, когда охрана доносила, что он курит. «Мой отец — зверь», — сказал однажды Яша, сотрясаясь в рыданиях. Мама уложила его спать у нас, а он все умолял: „Оставьте меня жить у вас, я его ненавижу...“»

Абакумов сжег эти показания у себя в кабинете, ужаснувшись тому, сколько лет они *валялись* в спецархиве. Пришлось ликвидировать сорок сотрудников, всех, кто имел к этому касательство (членов семей сослали в Магадан, поставили

слежку за всеми знакомыми; потом для подстраховки арестовали и тех).

Сталин тогда наложил на списке резолюцию «ВМСЗ» — «высшая мера социальной защиты» (иногда писал «ВМН» — «высшая мера наказания»), потому что Абакумов объяснил: «Они хранили архивы, связанные с клеветническими заявлениями сыновей врагов народа, которые жили в Кремле».

Сделав один *пых*, Сталин прополоскал рот табачным дымом, отложил трубку в сторону («Что бы я делал без Виноградова, Вовси и Когана? Четверть века они со мною, четверть века держат мне форму, ай да умницы») и медленно произнес:

— Когда я ехал в Лондон, к Ленину, на съезд, один из делегатов тоже много говорил об английской «специфике». С моей точки зрения, тем не менее, там нет никакой специфики... Одна островная амбициозная гордыня... И мы собьем эту самую мифическую амбициозную специфику... Дайте время... Так что не надо защищать Майского, его дрянную болтовню ссылками на какую-то специфику... Вся их специфика заключается в том, что на завтрак дают овсяную кашу, словно там не люди живут, а жеребцы с кобылами... И

Майский, и Эренбург нам нужны... Пока что, во всяком случае... Вот придут новые кадры, умеющие говорить с людьми Запада без униженного русского пресмыкательства, тогда и... Делайте свое дело, Абакумов... Давайте информацию, а уж нам предоставьте возможность принимать решения... Всегда помните слова нашего учителя, нашего Ильича: если ЧК выйдет из-под контроля партии, она неминуемо превратится в охранку или того хуже... Так-то... За вами — информация, за нами, ЦК, — решения... Уговорились?

— Спасибо за указания, товарищ Сталин, конечно, уговорились...

...Возвращаясь после таких бесед домой, Абакумов чувствовал себя совершенно измотанным, словно весь день дрова колол.

Единственное успокоение он находил в беседах с дочкой, приглашал ее в свой кабинет, угощал диковинными французскими конфетками и, слушая ее веселый щебет, расслаблялся, постепенно успокаивался, заряжаясь верой в то, что во имя счастья детей отцы должны нести свой крест, постоянно соблюдая при этом условия *игры* — никем не написанные, никогда не публиковавшиеся, вслух не произносившиеся, но всегда существовавшие.

...Комурова министр обычно принимал без очереди, прерывая встречи с другими сотрудниками, ибо знал, сколь дружен Богдан с Берия.

Так и сегодня он радушно усадил его за маленький столик, заказал порученцу «липтон» с английскими печеньицами «афтер эйт» и, порасспросив о домашних, приготовился слушать своего могущественного подчиненного.

...Абакумов стыдился признаться себе в том, что панически боялся Комурова. Он боялся его не потому, что видел в деле: и на фронтах, когда случалось какое ЧП, и в камерах, где он лично пытал тех, кто отказывался сотрудничать со следствием при написании того или иного *сценария* для процесса (работал в майке — волосатый, неистовый; воняло по´том, и это более всего запомнилось Абакумову: не крики начальника Генерального штаба Мерецкова, которого он истязал в июле сорок первого, а именно едкий запах пота); он боялся Комурова потому, что не мог понять таинственной непоследовательности его поступков и предложений, которые каким-то странным образом оказывались в конце концов верхом логического умопостроения, законченным, абсолютным кругом.

То ли он счастливчик, есть такой сорт людей,

которых постоянно хранит Бог, то ли в нем была сокрыта какая-то потаенная, неизвестная ему *машина*, которая умела превратить хаос в порядок.

Это последнее страшило его более всего, даже больше, чем дружеское покровительство Берия.

Мне Берия тоже покровительствует, размышлял Абакумов, он мою кандидатуру назвал, век не забуду, зато я теперь бываю у генералиссимуса чаще, чем Лаврентий Павлович; кто знает, не придет ли час моего торжества, если я *почувствую* время, когда на стол Сталина *нужно* будет положить те материалы, которые помимо моего приказа сами по себе приходят в этот дом, ложась пятном на Берия. Тут и думать нечего! А узнай генералиссимус о девках маршала?! Если б пять-шесть, у кого не бывает — а ведь уж под две сотни подвалило! Девок-то этих, как блядушек, так и именитых матрон, моя служба проверяет: не болтают ли, нет ли молодых любовников с трипаком или сифилисом, не имеют ли осужденных родственников...

...Комуров достал из папки *постановление* на расстрел террориста, власовского недобитка и предателя Родины Исаева, готовившего покушение на товарища Сталина, полностью признавшего свою вину, заявившего, что, если

выйдет из тюрьмы, все равно уничтожит «тирана, губителя ленинизма».

— Это дело прошло мимо меня, — удивился Абакумов.

— Мимо меня не прошло, — ответил Комуров. — Нужно добро товарища Сталина, чтобы в нас с тобой каменьями не кидали.

— А кто же в нас с тобой может кинуть каменья?

Комуров вздохнул:

— Товарищ министр, во многия знания многия печали.

— Сколько раз повторять: я для тебя был и остался Виктором! Как не совестно тебе?! Или не гожусь в друзья?

Комуров подвинул ему *постановление* и ответил:

— Твои враги, Витя, — мои враги... Наши, говоря точней... За Исаева хлопочет наш с тобой подопечный Соломон Абрамович Лозовский... Это у меня зафиксировано... Документально... Перед Шкирятовым слово замолвил... Понял? А Матвей прислал мне: «Почитай, *поэзия*»...

— Где дело?

— У меня... Прикажете передать?

Абакумов понял, что Комуров снова загнал его в

угол; просить прислать материалы после резкого перехода на «вы» — значит портить отношения.

— Как только буду у генералиссимуса — подпишу. Справочку только составь покрасивей, ладно?

— Хорошо, Витя, справку я тебе завтра же подготовлю.

Когда порученец принес «липтон» и печенье, Абакумов сам разлил кипяток, опустил пакетики в стаканы, поинтересовавшись, не хочет ли Богдан покрепче: «Два пакетика по эффекту воздействия равны рюмке хорошего вина».

— Какого? — спросил Комуров. — Крепленого? Или кавказского?..

Сейчас что-то попросит, понял Абакумов, *постановления* ему мало, неспроста он про крепленое спросил, кто-то из моей охраны им стучит, что я мадеру пью, только в их компании нахваливаю всякие там цинандали и мукузани. Рот вяжет, вода водой, не *берет*, а государь не дурак был, мадеркой баловался. «Женский коньяк»! Пусть называют как хотят, а по мне лучшего вина нет: и сладко на вкус, и пьянит томно...

— Хорошего вина в бутылках мало, — ответил Абакумов уклончиво. — Вот когда меня грузины угощали зеленым сухим вином прямо из бур-

дюков — это, я доложу, сказка! Хотя грузинскую «Хванчкару» люблю даже в бутылках...

— У нас есть лучше вина... Скажи, Витя, тебе о Рюмине ничего не докладывали?

— О Рюмине? — переспросил Абакумов, нахмурившись. — Кто это?

— По Архангельску работал, подполковник...

— А почему должны были докладывать? ЧП? Запросить?

— Не надо. Я прошу твоей санкции, дай его мне, буду готовить к хорошему делу.

— Да, пожалуйста, — сразу же согласился Абакумов. — Тут моей санкции не нужно, подписывай приказ сам, используй по своему усмотрению.

...Вопрос о Рюмине был задан не случайно: подполковник попал «*на подслух*», находясь в квартире некоего Шевцова, за которым давно смотрели — крайний шовинист; крепко выпил и сказал: «А ведь в одном бесноватый фюрер был прав: евреев надо изничтожить! Смотрите, кто у нас сейчас ведет главную борьбу против родины? Кто продает страну за иностранные самописки? Евреи! Кто критикует русских писателей и артистов? Еврейские космополиты! Кто клевещет на русских шахтеров в кино? Еврей Луков, под русским псевдонимом прячется, сволочь! Кто

завел в тупик нашу экономическую науку? Еврей Варга! Кто клевещет на нашу историю? Евреи. Кто какофонии сочиняет? Еврей Шостакович!»

Кто-то из присутствующих заметил, что Шостакович русский.

Рюмин и Шевцов взъярились: «Нет таких русских фамилий! И уши у него еврейские!»

Поскольку Влодимирский разрабатывал Еврейский антифашистский комитет, Комуров сразу прикинул, что такой человек может пригодиться. Однако потом, подумав, решил взять этого Рюмина под свою опеку, надо сначала *обкатать*, а *использовать* — лишь тогда, когда наступит черед для коронного дела. Берия намекнул, что политика Кобы будет однозначной, поскольку экономически русских еще больше зажмут, надо будет обращаться к их патриотизму, подчеркивать исключительность, поставляя «врагов», виновных в трудностях.

— Спасибо, Витя, — поднимаясь, сказал Комуров. — И за чай спасибо. Действительно, прекрасный напиток... Только абхазский лучше, честное слово... Пришьют еще тебе этот чертов «липтон»... Товарищ Суслов в этом деле строг, поимей в виду... Ты лучше адлерский чай хвали, он русский. Краснодарский край, казаки, опора

державы... Советую как другу, *Витя*...

С этим и ушел, оставив Абакумова в мрачной задумчивости.

...Домой министр вернулся рано, сказав помощнику, что захворал, мигрень. Велел соединять только с Поскребышевым и членами Политбюро, для всех остальных министров — закрыт.

Дочь уже вернулась. Он предложил ей поиграть в «морской бой»; сражались с увлечением, потом перешли на «крестики-нолики», он поддавался, изображал огорчение, *любимица* хохотала. Потом принесла колоду карт, сразились в «дурака».

Отодвинув руку с картами так, чтобы дочка могла подглядывать, с тоскою думал: «Бедненькая ты моя кровинушка, случись что со мной, тебя такой ужас ждет, такие муки... Зачем я лез вверх, карабкался по проклятой лестнице?! Служил бы себе тихо и незаметно, так нет же, понесло! У нас только тихие выживают... Лишь маленькие да незаметные своей смертью помирают... А как уйти от судьбы? Мы ж все букашки, нас сверху в микроскоп разглядывают... Богдан неспроста этого самого Рюмина попросил... Он ничего просто так не делает, у него всегда коварство на уме... А потребуй я материалы, сразу настучит Лаврентию: «мелочная опека, мешает инициативе, что

за недоверие среди *своих*?» Пойди, объясняйся! Он ведь член Политбюро, а не я... Бедненькая ты моя нежность». Он поднял повлажневшие глаза на дочь: «Пойти бы в церкву, как с бабушкой Леной, покойницей, да и бухнуться на колени, прижаться лбом к *вечным* плитам храма Господня и помолиться б за нее... Мне-то ничего не страшно, огонь и воду прошел... Да и не отмолю себя, ее б уберечь...»

— Папуль, а ты почему не кроешь? У тебя же козыри есть! Так нечестно!

— И вправду есть, — вздохнул Абакумов, — отобьюсь, сей миг покрою, малышенька...

— Ты мне не поддавайся, я ж не маленькая! Неинтересно играть... А знаешь, меня сегодня училка отчитала...

— Вот проказница... За что?

— Я не смогла ответить, когда было покушение на Владимира Ильича...

Ну, завтра этой суке шею накрутят, подумал он, девочку попусту травмирует; ответил, однако, иначе:

— Такие вещи надо знать, дочура... В Ильича стреляла эсерка Фанни Каплан, космополитского племени, ей Бухарин пистолет в руки дал...

— Вот она б тебе двойку и влепила! — рассме-

ялась девочка. — Первое покушение на Ленина было в январе, еще в Петрограде! Его тогда какой-то швейцарец спас, собой прикрыл...

— Швейцарец? — Абакумов удивился. — Это кто ж?

— Платтен, — произнесла дочка чуть не по слогам и пошла к роялю: знала, что отец больше всего любил, когда она играла «Полонез» Огинского.

А вроде Платтена этого самого мы расстреляли, подумал Абакумов. Уж не из троцкистов ли? Ну и учителя! Эти такому научат, что потом из детей колом не вышибешь...

Хотел было сразу пойти к себе и позвонить помощнику: пусть проверят учительницу, не контра ли, но, расслабившись, отдался музыке, любуясь стройной фигуркой дочери, грациозно сидевшей возле огромного белого «Бехштейна»...

...В то же самое время три врача-психиатра работали с Александром Исаевым, бывшим офицером военной разведки РККА, кавалером боевых орденов, а ныне зэком и придурком — не в грубо-лагерном, жаргонном смысле, а в настоящем — он сошел с ума во время допросов.

Они уже час сидели с ним в маленькой комнате, оборудованной магнитофонами, и всячески пытались разговорить несчастного. Молодой

старик, однако, тупо молчал, глядя куда-то вдаль неподвижными глазами.

Один из врачей, самый старый, Ливин, попросил коллег выйти. Оставшись наедине с зэком, тихонько, дружески, доверительно спросил:

— Санечка, хочешь поговорить с отцом?

Зэк продолжал смотреть *сквозь* доктора, но в глазах его что-то мелькнуло...

Ливин включил магнитофон, зазвучал голос Исаева: «Я хочу получить свидание с сыном...»

Зэк вдруг умиротворенно улыбнулся:

— Папа...

— А ты его позови, Санечка, — так же добро, вкрадчиво продолжал Ливин. — Покричи: «Папа, папочка, папа!» Он тебя услышит... Ты ведь веришь мне?

— Папочка! — после долгого непонимающего молчания вдруг закричал Саня и, чуть отодвинувшись, поглядел на врача. — Папочка! Ты меня слышишь?

— Громче, — не отрывая глаз от зрачков Сани, нажал Ливин. — Кричи, что плохая слышимость... Ты ж не слышишь его? Правда? Пусть говорит громче...

— Па-а-а-апочка! Что ты молчишь?! Говори громче! Почему ты замолчал?!

— А замолчал он потому, что слишком волнуется, — по-прежнему ласково, доверительно объяснил Ливин. — Столько лет не видал сыночка... Крикни, что скоро приедешь к нему... Скажи, что уже выздоровел... Только кричи громче, тогда отец ответит...

...Послушав *настриг* пленки, приготовленный подполковником медицинской службы Ливиным в тот же день, Влодимирский позвонил Комурову:

— Отменная работа! Наложу на голос радиопомехи — получится вполне трогательная беседа.

— Не обольщайся, — ответил Комуров. — Твой подопечный так изощрен, что наверняка проверит придурка подробностью, нам с тобой неведомой... Вот и конец твоей комбинации...

— Ничего подобного! У нас каждая фраза начинается с того, что тот орет: «Папочка, громче, я очень плохо слышу...» А на *проверочном* вопросе папочки мы прервем радиосеанс: «Помехи, попробуем завтра». Состояние у Исаева будет шоковое, *скушает*, поверьте...

— Ты еще не ударил его в лоб вопросом: «Что написал в Библии и передал Валленбергу?»

Влодимирский ответил убежденно:

— Это мой главный козырь. Рано. Давайте по-

слушаем, как они будут беседовать на *даче*, во время прогулок... Они ж не знают, что мы их и в лесу сможем слушать, *шарашки* не зря сливочное масло и кофей с цикорием получают...

Комуров усмехнулся:

— Валяй. Я тебе верю, ответственность на тебе...

Когда Исаев, надрываясь, прокричал в трубку: «Санюшка, сыночек, любимый, перед вылетом подстригись, как стригся в Кракове... Помнишь?!», в этот момент Сергей Сергеевич остановил пленку с голосом Александра Исаева, а вторую, на которой был записан треск и шум радиопомех, сразу же усилил. По прошествии полуминуты, пока Максим Максимович надрывался: «Алло, Саня, Санечка, сынок, алло, ты слышишь меня?!» — снова сквозь писки и треск радиопомех дал голос сына: «Папочка, говори громче, я ничего не слышу...»

...А потом Аркадий Аркадьевич распекал в присутствии Исаева радистов; те виновато оправдывались:

— Товарищ генерал, но это же Колыма! И так чудом вышли! Радиограмму хоть сейчас передадим и запросим немедленный ответ...

— Чтобы завтра же была связь! — бушевал Ар-

кадий Аркадьевич. — Деньги любите получать, а работать не умеете!

Нервно закурил, прошелся по кабинету, потом словно бы споткнулся:

— Извините, Всеволод Владимирович, не предложил вам. Курите...

Исаев медленно поднял на него глаза:

— Я хочу стакан водки. И отвезите меня на дачу. Валленберга присылайте завтра. И если я сегодня попрошу на вашей даче еще стакан водки, пусть мне дадут. И приготовят хорошую зубную пасту. Или отменный чай. Отбивает запах перегара...

Аркадий Аркадьевич сел рядом с Исаевым, положил ему руку на острое колено и проникновенно, с болью, сказал:

— Спасибо, товарищ полковник... Я не сомневался, что у нас, у большевиков, все так и кончится...

И, вызвав своего лощеного секретаря, *повелел*:

— Бутылку лучшей водки, банку икры и кусок вареной осетрины.

...Воздух был прозрачен и хрупок. Проснувшись, Исаев увидел верхушки сосен, сразу вспомнил тот русский, затрепанный журнал, что он нашел в оккупированном Париже на книжной набережной Сены; «и так неистовы на синем размахи

огненных стволов...».

Поднял голову с мягкой, *топкой* подушки: стволы деревьев были действительно огненными. «Размахи» или «разбеги», — подумал Исаев, — и то и другое слово подходит к *сути*, к этой извечной красоте. Как же им больно, когда их медленно, с перекуром, пилят, боже ты мой!»

Он поднялся. Голова после вчерашней водки кружилась. Спустил худые ноги с выпирающими коленями на коврик, в дверь сразу же постучались. Значит, постоянно смотрит надзиратель, понял он. Вошел, однако, не солдат, а «Макгрегор», Виктор Исаевич Рат.

— Доброе утро, Всеволод Владимирович, как спалось?

— Хорошо спалось, благодарю. Что там со связью? Наладили?

— Информации пока что не поступало. Позавтракаем и после этого позвоним Аркадию Аркадьевичу...

— Валленберга еще не привезли?

— Нет.

— Когда?

— Не знаю. Указаний не получал.

Завтракали на веранде, залитой солнцем. Масло, сыр, два яйца всмятку, кофе; хлеб был

двух сортов — черный и серый. («Мы называем «рижский», — пояснил Рат, — самый, по-моему, вкусный, в вашу честь заказал».) Потом послушали последние известия по радио: перевыполнение плана уборки хлеба колхозниками Одесской, Херсонской и Белгородской областей, приветственное письмо вождю всех народов, гениальному зодчему нашего счастья великому Сталину от строителей Днепрогэса, восстающего из руин. Максим Максимович запомнил две подписи — парторга ЦК Дымшица и секретаря обкома Брежнева. Диктор сухо зачитал сообщение о продолжающейся борьбе с вероломством группы театральных критиков-космополитов типа Альтмана и Борщаговского. Закончился выпуск прогнозом погоды: обещали солнце.

— Стакашку не засосете? — поинтересовался Рат.

— Это вы по поводу водки?

— Почему? С утречка хорошо пойдет джин с тоником, здесь все есть, — он усмехнулся, — как в Лондоне. Так что? Устроить оттяжку?

Исаев поинтересовался:

— У вас дедушка есть?

— Умер... Прекрасный был дедушка, Исай Маркович, пусть ему земля будет пухом...

— Неужели он вас не учил: «Проиграл — не отыгрывайся, выпил — не похмеляйся»?

— Он у меня и не пил, и не играл, Всеволод Владимирович. Он с конца прошлого века был в революционной работе... В большевиках он был с начала и до конца, без колебаний...

— Рат? — Исаев удивился. — Я помню многих ветеранов, что-то такой фамилии нет в голове.

— Вы его знаете, — убежденно ответил Рат, — прекрасно знаете, только под другой фамилией... Она общеизвестна.

— Давайте позвоним в Центр, — сказал Исаев. — Как там дела со связью...

— Пошли, — согласился Рат, — телефон рядом.

...Голос Аркадия Аркадьевича был потухший, грустный:

— Возвращайтесь, Всеволод Владимирович, есть новости.

Говоря так, он не лгал: после вчерашнего разговора с ним Комуров встретился с Берия и, доложив ему об успехе в комбинации по делу «Штирлица — Валленберга», сказал, что начинается работа на даче.

Берия поздравил его, просил передать благодарность Влодимирскому, а в конце разговора предложил заехать после работы, вечером: «Надо

перекинуться парой слов о *проекте*».

Начав с какого-то малозначительного вопроса и дождавшись того момента, когда Комуров начал отвечать, как всегда многословно и обстоятельно, Берия достал из сейфа красную папку тисненой кожи и положил ее перед Богданом.

Тот на мгновение прервал доклад, вопросительно посмотрев на Берия. Маршал кивнул головой: мол, продолжай.

Дослушав Комурова, сказал:

— Погляди, думаю, пригодится...

«После многочисленных запросов в МИД СССР со стороны шведского правительства, связанных с «исчезновением» во время освобождения Будапешта подданного Швеции некоего Валленберга, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин запросил дело Валленберга и пообещал принять посла.

На беседе товарища Иосифа Виссарионовича Сталина с послом присутствовал замминистра иностранных дел т. Лозовский С. А.

Посол Швеции Содерблом был приглашен в Кремль, однако не для беседы о

«деле» Валленберга, ибо такого «дела» нет, оно сфабриковано антисоветской пропагандой, а в связи с окончанием срока аккредитации в Союзе ССР.

Накануне беседы, зная, что Содерблом наверняка передаст послание короля и премьер-министра Швеции, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин затребовал справку по поводу боев за Будапешт и вызвал для беседы маршала Малиновского, который якобы встречался с Валленбергом по просьбе последнего в Дебрецене.

Действительно, во время протокольной беседы, после того как посол Швеции выразил благодарность Генералиссимусу Сталину за выдающуюся роль Советского Союза в победе над нацизмом и фашизмом и попросил передать сердечную признательность коллегам из Министерства иностранных дел, он перешел к вопросу о Валленберге.

Сначала посол коснулся вопроса о том, что, когда в Стокгольме в октябре 1944 года узнали о приходе в Будапеште к власти нациста Салаши и изучили первую официальную декларацию нового лидера, в

которой он, в частности, призывал к тотальному противостоянию большевизму и немедленному истреблению евреев в Венгрии, Его Величество Король Швеции отправил телеграмму регенту адмиралу Хорти, в которой заявил протест по поводу официального заявления г-на Салаши, объявив его «неприемлемым» и «противным духу гуманизма и цивилизации».

Именно в это время в Венгрии работал шведский дипломат, секретарь посольства Рауль Валленберг, успевший к тому времени спасти тридцать тысяч евреев от уничтожения. Посол отметил выдающуюся роль Валленберга, его беззаветное мужество и абсолютную честность. Валленберг, продолжил посол, проделал немыслимое: он со дня на день отодвигал исполнение приказа Гитлера о тотальном уничтожении всех несчастных. «Валленберг...» — хотел продолжить посол, но был прерван товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который сострадающе попросил произнести фамилию шведского дипломата по буквам, что и сделал немедленно советник-по-

сланник Швеции г-н Баркхольст.

Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин записал крупными буквами фамилию Валленберга.

Посол продолжил свой рассказ о том, как Валленберг отправился из Будапешта в Дебрецен на встречу с представителями Красной Армии и, выезжая из города, на улицах которого шли бои, встретил русских солдат и спросил их о том, каким путем лучше добраться до штаба. После этого он исчез.

— Он ехал на вашей машине? Под флагом Швеции? — спросил товарищ Иосиф Виссарионович Сталин.

Посол ответил в том смысле, что он ехал именно на шведской машине. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин поинтересовался, известно ли господину послу, что советской авиации был отдан приказ ни в коем случае не атаковать машины под шведским флагом. Посол ответил, что он прекрасно помнит этот приказ и благодарен за него Генералиссимусу Сталину. Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин ответил, что благодарить надо не его, а

Молотова с Вышинским. «Я убежден, — заявил посол, — что советская авиация не нападала на шведский автомобиль, такая возможность исключается нами».

Обратившись к т. Лозовскому, товарищ Иосиф Виссарионович Сталин указал: «Надо посмотреть, был ли такой же приказ у немцев и салашистов?»

Затем товарищ Иосиф Виссарионович Сталин задал вопрос шведскому послу: «Какое объяснение происшедшему печальному инциденту было дано советской стороной?»

Посол ответил, что никакого ответа получено не было, хотя в сорок пятом году посол СССР в Швеции г-жа Коллонтай и заместитель министра иностранных дел г-н Деканозов заявили, что Валленберг находится под протекцией войск Красной Армии...

Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин прервал беседу словами, в которых содержалось обещание предпринять все возможное для изучения вопроса, поднятого шведской стороной.

Запись беседы сделана *Павловым*».

— Ясно? — вздохнув, спросил Берия. — То-то... У меня все время это в памяти шевелилось... Неспокойно было на душе. Я-то был в отъезде, когда произошла эта беседа, товарищу Сталину готовил ответ Деканозов, но материал не удовлетворил товарища Сталина, он попросил обдумать все еще раз, но больше к этому вопросу почему-то не возвращался... Едем, поужинаем на Качалова, мне сегодня сидеть часов до трех...

В машине задумчиво продолжил:

— Но самое любопытное заключается в том, что спустя четыре дня после этой беседы в Кремле член Политбюро Венгерской компартии Ласло Райк устроил гала-концерт в «память о герое Рауле Валленберге»... И знаешь, с кем он советовался по этому вопросу по линии МИДа?

— Представить не могу, Лаврентий Павлович...

— И я не мог. С Соломоном Абрамовичем, нашим другом Лозовским... Понимаешь, куда я клоню?

— Нет, — откровенно признался Комуров. — Ваша мысль, Лаврентий Павлович, всегда так неожиданна, изящна, всеохватна, что я не в силах предугадать *поворот*...

— Не люблю комплиментов, — отрезал Берия, выслушав, впрочем, их до конца. — Мысль как

мысль, нормальная мысль... Поскольку страна в изоляции, поскольку нам нужны контактные *зоны*, товарищ Сталин может перерешить: вместо процесса над агентом гестапо Валленбергом он прикажет *разыскать* его и *подарит* Стокгольму. Объяснение? У нас шведский никто не понимает, нет переводчиков, не уразумели, кто такой, думали, мол, фашист маскируется. Тогда что?

— Тогда плохо. Ведь его сильно *жали*...

— Так вот, пусть с ним этот ваш Штирлиц поработает в камере, ублажит, если, как ты мне сказал, ваш «гранит» согласился на сотрудничество. Нам нужна правда, понимаешь? Полная правда!

...Вернувшись от Берия к себе, Комуров работу на *даче* отменил: пусть Исаев начинает «разминать» Валленберга в камере. Тот теперь на допросах молчал; требовал свидания со своими шведами и матерью... Пусть этот самый Штирлиц поможет нам узнать всю правду, а там решим, что делать.

Влодимирский ответил:

— Но ведь Исаев сразу предупредил Валленберга, товарищ генерал: «О делах не говорить». Он этим вполне ясно разъяснил шведу, что камера «на подслухе»... Мы можем узнать правду только на *даче*.

Комуров поднял на Влодимирского глаза:

— Приказ поняли?

— Так точно, товарищ генерал.

— Вот и исполняйте...

...Аркадий Аркадьевич встретил Исаева у двери, передал две радиограммы от сына: «Бушуют ветра, постригусь, как ты велел, обещали восстановить связь в ближайшие дни». Во второй, более развернутой, просил поцеловать маму, благодарил за то, что отец устроил ее в такой прекрасный санаторий, и просил срочно выслать, если, конечно, это не очень трудно, набор американских витаминов.

Аркадий Аркадьевич кивнул на три коробки американских витаминов, лежавшие на столе:

— С утра этим занимался.

Исаев поинтересовался:

— А как же вы ему это доставите? Там же самолет сесть не может.

Аркадий Аркадьевич искренне изумился:

— Так ведь грузы-то мы туда парашютами сбрасываем!

Потом еще более потускнел лицом, досадливо махнул рукой:

— Все не верите? Ловушки ставите?

— Теперь не ставлю, — ответил Исаев. — Ответ

логичен.

Аркадий Аркадьевич протянул ему конверт:

— Сашенькино письмо и фотография.

Исаев прочитал письмо несколько раз, вглядываясь в каждую строчку, кадык несколько раз *ерзанул* в горле, однако лицо было непроницаемым.

— Спасибо.

Аркадий Аркадьевич походил по кабинету и, подняв глаза на отдушины, многозначительно посмотрел на Исаева.

Тот едва заметно кивнул: если здесь все снимают, то зрителю показалось бы, что он всего лишь устало опустил голову.

— Всеволод Владимирович, я посоветовался с товарищами, и мы пришли к выводу, что Валленберга нельзя везти на дачу...

— В камере он говорить не станет... Вы же фиксируете наши с ним собеседования... Я с самого начала предупредил его, чтобы он не затевал разговоров о деле... Это ваша вина: удовлетвори вы мои требования, все могло сложиться иначе...

— Я думаю, — после долгой паузы ответил Влодимирский, мучительно сдерживая себя, чтобы не хлестануть этого гада по морде и не спросить, что он писал шведу на Библии, — делу можно

помочь... Но это... Мне даже страшно говорить... Это обяжет вас к страданиям...

— Считаете, что сейчас я благоденствую?

— Работаете, — сухо отрезал Аркадий Аркадьевич. — Вы на службе, Всеволод Владимирович. Вы под погонами... Так вот, если мы вернем вас после двухдневного отсутствия в камеру, то вернем в наручниках... А сейчас выпьете таблетку брома, чтобы сразу свалиться на койку... Вас поднимут... Вы снова свалитесь, вам прикажут встать, но вы не сможете, тогда вам объявят карцер... Поспите в другой камере, хоть сутки... Потом снова наденут наручники и приведут к Валленбергу. И вы исповедуетесь ему, потому что, скажете вы, вполне возможно, что вас расстреляют, а вы хотите, чтобы правда о вашей жизни осталась в памяти хотя бы одного человека...

— И я расскажу ему о себе всю правду?

— Именно.

— Он спросит: отчего вы мне не верите? — Исаев пожал плечами. — А если верите, то отчего держите в *браслетах* и хотите расстрелять? В голове нормального человека такое не укладывается...

— Во-первых, мы вам верим, Всеволод Владимирович, и вы это поняли. Во-вторых, именно потому, что мы вам *якобы* не верим, он вам пове-

рит. И раскроется.

16

— Ложь рождает ложь, — задумчиво заметил Валленберг и поменял тряпку с холодной водой на распухших оладьях-кистях Исаева. — Я не сказал здешним следователям ни единого слова лжи и чем больше убеждал их в том, что говорю правду, тем меньше они верили мне... Особенно в связи с «Джойнт Дистрибьюшн Комити»...

— Почему?

— Не знаю. Они все время требовали открыть агентуру «Джойнта» в Восточной Европе... Я не понимал их поначалу, путался, вы ж знаете, сколько в Англии и Америке этих самых «джойнтов»?! Что ни комитет, то непременно «джойнт» — «объединенный»... Я им говорил, что в Штатах было только одно сокращение, понятное всем: «Борд»...

— Я не знаю этого сокращения, — признался Исаев.

— Видимо, запамятовали, — ответил Валленберг, и Исаев лишний раз подивился его такту. Только верь мне, дружище, только верь, я знаю, что сделаю на процессе — «постригись, как в Кра-

кове»; никогда мы с Санькой об этом не говорили, а прервали нас именно на этом моем вопросе, они смонтировали пленку — это ясно. Что ж, им за это коварство и отвечать... И в письме Сашеньки есть строки Гумилева, она их не зря вставила. Я говорил ей во Владивостоке, что этот поэт несет в себе постоянное ощущение тревоги и неверия в реальность происходящего.

— Вы просто запамятовали, — повторил Валленберг, нахмурившись, словно бы перед принятием трудного решения. — Первым забил тревогу о тотальном уничтожении всех евреев, живущих в Европе, британский министр Антони Идеи в своем выступлении в палате общин, что равнозначно обращению ко всей империи... Но при этом британцы играли, не желая пускать евреев в Палестину: «возможны трения с арабами». Везде и всюду «разделяй и властвуй», как горько это, как постоянно... Вы знаете, что Лондон предложил Рузвельту провести совещание о гитлеровском геноциде евреев? И что тот поначалу отказался?

— Не знал. РСХА такими сведениями не располагало...

— Британские службы умеют хранить свои тайны, — сказал Валленберг, и Исаев сразу же отметил всю опасность этой его фразы: начнут

мотать, откуда ему это известно... Пусть не гестаповский шпион, а британский — все одно сойдет...

— Дальше, — требовательно перебил Валленберга Максим Максимович.

Тот удивленно пожал плечами: мол, что я сказал неосторожного? И продолжил:

— Так вот, Рузвельт медлил... Почему? Для меня это до сих пор загадка. Только после того, как стало известно, что гитлеровцы сжигают пятнадцать тысяч евреев ежедневно, Белый дом дрогнул и государственный департамент создал «Комитет помощи беженцам войны». И этот-то «Уор рефьюджи борд» передал из своего бюджета миллион долларов организации, распределявшей талоны на еду и жилье среди бежавших от Гитлера евреев: здесь ее называют «Джойнт», мы называли «Объединенный распределительный комитет»... Мою кандидатуру, — мол, готов помочь спасению несчастных, — предложил представитель «Борд» в Швеции — ведь из-за состояния войны Америка не могла послать в Венгрию своего человека, чтобы заступиться за евреев, обреченных на уничтожение. В Стокгольме все знали, что я отказался заниматься банковскими операциями, хоть и преуспел в

Палестине еще до войны. Банкир — профессия циников, право, — Валленберг вздохнул. — Из Южной Африки — я там тоже разворачивал дела нашего банка «Энскилд» — дедушке прислали письмо, что, мол, я талантлив и все такое прочее, прекрасный организатор, но для настоящего банкира слишком уж большой фантазер... Словом, «Борд» депонировал в нашем семейном банке «Энскилд» семь миллионов долларов для спасения венгерских евреев, которых Гитлер, чувствуя приближение краха, приказал уничтожить. Шло лето сорок четвертого, Красная Армия наступает, союзники высадились в Европе, финал войны, конец нацизма...

— Гитлер не считал войну проигранной даже в марте сорок пятого, — возразил Исаев. — Он же был фанатиком.

— Я тоже был фанатиком, когда спасал евреев от сожжения...

— Вы не были фанатиком. Вы просто исполняли свой человеческий долг... Фанатизм Гитлера шел не от идеи, а от паранойи и самовлюбленности... Ну, дальше?

— А дальше я приехал в Будапешт... Это было девятого июля сорок четвертого... Приехал как секретарь шведского посольства по гуманитар-

ным вопросам. И как раз в это же время там начал разворачивать свою активность оберштурмбанфюрер СС Эйхман. Я хотел спасти евреев, а он хотел сжечь их в Освенциме... Как солому... Сотни тысяч... С детьми, с беременными женщинами... Я купил — доллары-то у меня были — множество домов в Будапеште, таким образом, в венгерской столице появилась шведская недвижимость — попробуй прикоснись к собственности нейтральной державы! А потом я начал выдавать евреям шведские паспорта... Вы не представляете себе, что творилось в шведской миссии и у меня, на улице Минервы, где я открыл свой отдел! Десятки тысяч несчастных осаждали мои двери, ужас, ужас! У меня до сих пор в ушах этот страшный вопль тысяч людей... Я был наивным идиотом, вы даже не представляете, сколь наивен я был, когда собрал совещание представителей министерства внутренних дел Венгрии, нацистов и руководителей еврейской общины... Эйхман требовал немедленной депортации, а я уповал на здравый смысл... Но я знал от венгров, что адмирал Хорти наконец понял: война проиграна... Более того, шеф будапештской жандармерии Ференци сказал мне: «Валленберг, я восхищен вашей идеей со шведскими паспортами и охранными письмами

для евреев... Думаю, Хорти согласится признать этот шаг вашего правительства правомочным...» Он же потом и шепнул мне: «Хорти отправил своих людей в Москву на другой день после того, как Румыния повернулась к русским и объявила войну Гитлеру и нам... Он готов подписать мир, но этот мир должен быть *почетным*, иначе нация не примет его...» И началась политическая игра в *постепенность*: пока люди Хорти пробирались в Москву, адмирал сменил своего премьера. В кресло сел Геза Лакатош, либерал, но в первой же речи заверил всех, что Венгрия будет продолжать борьбу против русского большевизма и американского еврейства... А тогда нельзя уже было играть... Надо уметь вовремя действовать: утрата времени невосполнима, особенно в политике.

Исаев мягко улыбнулся:

— И в любви.

Валленберг, тяжко вздохнув, повторил:

— И в любви. Верно... Так вот, немцы что-то поняли, и в Будапешт...

Исаев кивнул:

— Дальше я знаю: в Будапешт приехал мой старый добрый друг, посол по особым поручениям фон Риббентропа, вечно молодой Эдмонд Веезенмайер...

— Откуда вы его знаете? — вновь насторожился Валленберг. Порою он делался похожим на оленя: замирал и немигающе глядел прямо перед собою.

— Я вместе с ним готовил вторжение нацистов в Югославию, *Рауль*, — ответил Исаев. — Кстати, по-русски меня зовут Максим... Или, если хотите, Всеволод...

Валленберг, не отрывая глаз от лица Исаева, ответил:

— Максим легче... Вы готовили вместе с этим мерзавцем оккупацию Югославии?!

— Такова была моя официальная миссия... Я прожил среди мерзавцев немало лет, Рауль. Я тогда бомбардировал Москву шифровками, что вторжение вот-вот начнется... Льщу себя надеждой, что эти мои сообщения в чем-то подтолкнули Москву заключить договор с югославами в ночь перед началом гитлеровского вторжения...

— А кто подтолкнул Москву отречься от этого договора спустя пять дней после разгрома Югославии? — жестко спросил Валленберг.

Опасаясь, что тот будет продолжать свои рискованные «подставные» вопросы, Исаев вновь взял огонь на себя:

— Сталин делал все, чтобы отдалить начало

войны...

— Он бы отдалил начало войны, подписав договор с Черчиллем, который сражался против Гитлера, — отрезал Валленберг.

— Погодите, Рауль, — снова перебил его Исаев. — Вернемся к Веезенмайеру: его профессия была подготавливать вторжение... Я помню, что он мотивировал ввод гитлеровских танков и дивизий СС необходимостью защиты южного фланга обороны рейха... Как вам удавалось тогда работать? Эйхман ведь стал не «представителем дружественной страны», а обычным оккупантом...

Валленберг отрицательно покачал головой:

— В полной мере он стал оккупантом в середине сентября, когда гестапо получило неопровержимые данные, что Хорти начал переговоры о мире. Тогда его оттерли, и пришел сумасшедший Салаши... Еще более ярый антисемит, чем Гитлер, хотя был выходцем из армянской семьи... Откуда в нем это? Эйхман подписал секретный протокол с министром полиции Салаши, совершенно безумным Табором Вайна о том, что часть евреев депортируют в Германию на принудительные работы, часть поселят в центре Будапешта, в гетто, и что наши паспорта теряют свою силу... Только немцы вправе определять: выпустить

еврея со шведским паспортом за границу или сжечь в крематории. Кое-как мне удалось отменить расстрел несчастных в гетто и депортацию на принудительные работы в Германию — это же был камуфляж крематориев... Салаши согласился создать «еврейские батальоны принудительного труда»: людей бросили на восток рыть окопы и строить укрепления против той армии, которая шла их освобождать... Расстреливали тех, кто плохо работал, дурно выглядел, не так шел в колонне; салашисты — это звери, те же гитлеровцы... А в ноябре, когда уже все трещало и русские вовсю наступали, меня пригласил Эйхман в свою штаб-квартиру в отеле «Мажестик»... Дверь его громадного люкса заперли, и он стал допрашивать меня, зачем я работал в Палестине в тридцать седьмом. Почему мой дядя выступает против великого фюрера германской нации, друга всех народов мира, защитника цивилизации от большевизма? Почему Рузвельт платит мне деньги? Какие американцы встречались со мною? Русские? Кто напечатал мне тысячи проклятых валленберговских паспортов? В каких типографиях? Он, кстати, — Валленберг прерывисто вздохнул, — не говорил о «Борде», он только и трещал о шпионах из еврейского «Джойнта»... А

потом сказал: «Всех евреев с вашими паспортами мы депортируем в Данию». И засмеялся. Причем смеялся искренне, глядя на меня как победитель, сваливший противника по боксу в нокаут. Я же понимал, что Дания — это фикция, там лагерей нет, несчастных расстреляют по дороге, как только вывезут из города... У меня были секунды на раздумье... Знаете, что я придумал? Я сказал ему: «Пусть отопрут дверь, я пошлю шофера за бутылкой виски и блоком сигарет... После этого продолжим наше собеседование...» Эйхман долго сидел не двигаясь, потом обернулся и заорал так, как умеют орать лишь одни немцы: «Открыть дверь!» И все то время, пока мой шофер ездил за виски, Эйхман ходил по кабинету и насвистывал мотив еврейской песенки, представляете? Он, Эйхман, — и еврейский мотив?!

— Сколько времени он свистел? — Исаев задал этот вопрос строго, без обычной своей мягкой улыбки.

Лицо Валленберга внезапно замерло и осунулось:

— Этот же вопрос мне задавали все здешние следователи... Даже делали следственный эксперимент...

— Уверяю вас, так бы поступило и Федеральное

бюро расследований...

— А я говорю, что он ходил и свистел! — вскочив с нар, тонко закричал Валленберг. — Он свистел и ходил! Как заводной! Вы ведь жили там, по вашим словам! Тогда вы знаете, что со жратвой у них было плохо! А с сигаретами — и вовсе! У них не было сигарет! Не было! Они травили свой народ каким-то смрадом, гнилым сеном! А я еще сказал шоферу, чтобы он взял банку ветчины и круг сыра! Эйхман ждал еду, понятно вам?! Эта тварь хотела жрать!

Спецпайки давали начиная с штандартенфюрера СС, вспомнил Исаев, да и то далеко не всем. Эйхман был ниже меня званием, хотя руководил отделом по уничтожению евреев. Валленберг прав, жрать хотели все...

— И что случилось, когда вы дали ему *взятку*? — подтолкнул Исаев. — Как он себя повел?

— Он напился, крепко напился, — сразу же успокоился Валленберг, обрадованный, видимо, тем, что ему поверили наконец. — И сказал, что я ему нравлюсь... А потом изогнулся надо мною, как строительный кран, я чувствовал его запах, запах гнилых зубов, плохо стиранного белья, плесени, и произнес: «Я так хорошо отношусь к вам, милый Валленберг, что готов помочь... Это

бесценная помощь, ее будут ставить вам в заслугу те евреи, которые чудом уцелеют от правого суда фюрера... Если вы переведете на мой счет сто пятьдесят тысяч золотых швейцарских франков, я позволю вам вывезти отсюда маленький эшелончик евреев с вашими валленберговскими паспортами... А там — поглядим... Как? Ничего, а?» С того дня меня повсюду сопровождал офицер тайной полиции Салаши — «для обеспечения безопасности»: «Венгры вас ненавидят за помощь евреям, могут пристрелить ненароком». Я встретился с Эйхманом еще раз, во время разгула салашистского кошмара, когда работать мне становилось все страшнее и страшнее: гитлеровцы и салашисты, будучи не в силах сдержать натиск русских, обрушивали свою ненависть на несчастных евреев, словно те были виноваты в их поражении. Вот тогда-то Эйхман и сказал мне: «Согласитесь, что лишь один я помогал вам спасти евреев... Был бы кто другой на моем месте, вам бы ничего не удалось сделать... Если вы честный человек, то скажете будущим поколениям: «Евреев спасал Эйхман»...» А на следующий день началась резня в гетто... По его приказу... Ну а потом... Потом, когда вошли русские, я хватал мерзавцев Салаши, которые учинили расстрел в

гетто, встречал красноармейцев. Был допрошен офицером НКВД, — он усмехнулся, — евреем... Очень, кстати, старался, звал к чистосердечному признанию... Какому, я до сих пор не пойму... Но меня освободили наутро... Отвезли к какому-то комиссару, сказали, что он во главе армии, то ли Вризнефф, то ли Бризнефф, тот расспрашивал меня о ситуации, сказал, что надо ехать к маршалу Малиновскому, в штаб фронта, в Дебрецен... Я ответил, что сначала надо посетить гетто, помочь тем, кто остался в живых после расправы... Убили сто тысяч, эсэсовцы и салашисты старались как могли. Осталось в живых семьдесят тысяч — люди без глаз, без лиц, парализованные страхом... Это те, кого мне удалось спасти... Я вновь вернулся в штаб русских и сказал, что сейчас объеду друзей, которые остались в живых, и после этого передам все деньги «Борд» в фонд немедленного восстановления Будапешта... Города ведь не было — стены, руины, пожарища. Я назвал мою организацию «Институтом Валленберга по восстановлению»... С этим я и отправился в штаб, передав все деньги для начала восстановительных работ... А меня схватили... Сначала обвиняли в том, что я немецкий шпион, потом — английский, а сейчас требуют признания, что

я агент этого самого «Джойнта», а я с их людьми и не встречался ни разу... Нет, вру... Встречался...

— Погодите-ка, — перебил его Исаев, но Валленберг словно и не слышал его.

— Я встречался, — с какой-то злобой, думая о своем, чеканил он, — с Альбертом Энштейном, Фейхтвангером и Иегуди Менухиным, они были почетными членами «распределительного комитета», «Джойнта»... Когда я учился в Мичигане на архитектора, я слушал Менухина... Три раза... Баснословно дорогие билеты на его концерты, но я покупал...

Исаев облегченно вздохнул: Валленберга не *понесло*.

— Что, у банкирского сына туго с деньгами?

— Банкирские родители самые что ни на есть скупердяи, — ответил Валленберг, — я рассчитывал каждый цент на месяц вперед, чтобы не одалживать у друзей...

17

Александр Максимович Исаев, которого по правде-то должны были записать в метриках Александром Всеволодовичем Владимировым (не знала Сашенька истинного имени любимого, тот выполнял приказ, жил по *легенде*), после того как услышал голос отца (шальной случай свел их лицом к лицу в Кракове, в сорок четвертом, до этого он только грезил о нем, разглядывал единственную сохранившуюся у матери фотографию), когда доктор уговаривал его кричать все громче и громче: «Сейчас твой отец придет, ты ж слышал его? Он ведь звал тебя, правда?!», после того как действительно он услышал голос отца, усиленный динамиками, в ответ на свои бесконечные «папа, папочка, папа, ты слышишь меня, папочка?!», медперсонал зафиксировал странное изменение в поведении больного зэка.

Долгие годы он пребывал в полнейшей апатии, по зарешеченной палате двигался робот. Теперь же глаза Александра Исаева обрели некоторую подвижность; он, например, стал реагировать на яркие закаты. Более того, впервые за все годы

заключения сам, без чьей-либо просьбы произнес слово «солнышко».

Узнав об этом, доктор Ливин вызвал к себе пациента, считавшегося безнадежным, сел напротив него, положил тоненькую девичью ладонь на колено бывшего капитана армейской разведки РККА, а ныне зэка, приговоренного к двадцати пяти годам лагерей, зэка 187-98/пн, и, приблизившись к нему, впился в зрачки больного своими базедовыми глазами, увеличенными толстыми линзами очков.

— Санечка, а зыркалки-то у тебя получшали, — заговорил он ласково, чуть недоумевающе, но одновременно с какой-то долей радости. — Они ведь, зрачоченьки твои, Санечка, стали реагировать на... Хм, вот что значит с родителем поговорить, а?! Ну-ка, скажи, что ты вчера вечером в окне видел?

Зрачки Александра Исаева расширились, лицо свело резкой, странной гримасой то ли смеха, то ли ужаса, — и он тихо ответил:

— Одуван...

Доктор Ливин, не снимая ладони с его колена и не отрывая взгляда от зрачка, придвинулся еще ближе:

— Что, что? Я не понял, Сашуля, повтори-ка

еще раз...

— Фу-фу, — показал зэк губами, а потом выпалил, — и детишки полетели, полетели, беленькие, с ножонками, легонькие...

Доктор резко откинулся на спинку стула. Александр, выработавший во время пыток рефлекс страха на быстрые и неожиданные движения, схватившись за голову, вскочил. Однако на этот раз он испугался не того, что его могут ударить, а потому, что явственно увидел фразу, которую произнес. Она жила не отдельно от него, не в таинственной его глубине, забиваемая сотнями других странных, бессильных, ищущих друг друга разноинтонационных *звучаний*, как это было последние годы, а вполне реально: вот он, одуванчик, дунь на него весною, и, как говорила мама, одуванчиковы детишки полетят по лесу.

Доктор Ливин подошел к Александру, обняв его, вернул к столу, мягко усадил, погладил по голове, привычно ощутив глубокие шрамы и мягкие *податливости* черепа; заговорщически подмигнул:

— А как же звали папу детишек?

Александр Исаев долго молчал, страшась чего-то, а потом прошептал:

— Не скажу.

— Почему? — обиженно удивился доктор Ливин.

— А все равно детишки уж разлетелись на парашютиках, — Александр Исаев тихо улыбнулся. — Не поймать...

— Какие детишки? — по-прежнему мягко поинтересовался Ливин. — Разве у тебя братья были? Сестры?

— Были...

— Ну-ка, позови их, — предложил доктор, — я их сейчас к тебе привезу.

— Улетели... Не догнать теперь...

— Да кто улетел?! — Ливин начал терять терпение: «Старею, раньше мог беседовать с несчастными идиотами, стараясь понять ломаную, но тем не менее таинственно-логичную *линию* трагической аномалии».

— Детишки, — повторил Александр. — Мягонькие, пушистенькие, никого не обидят, зла не принесут...

— А дуешь ты почему?! Разве на детишек дуют?

— На одуванных — да...

Ливин наконец понял:

— Так это ты про одуванчик?

Тот покачал головой:

— Вы ж про солнце спрашивали... А я про одуванчик сам думал... Без вас... Один...

С того дня Ливин перевел Александра Исаева в отдельную тихую палату, прописал ему курс новой терапии и сегментальные массажи, добился у начальства двухчасовой прогулки — зэк *ложился* в его докторскую диссертацию «Роль шока в психике больного, перенесшего тяжелую травму черепа».

Он работал каждый день, часа по три; Александр постепенно начал хмуриться — явный симптом возвращения памяти или обостренной реакции на вопрос.

Речь его становилась менее загадочной — поначалу была потаенной, тройной смысл в каждой фразе.

...Ливин помолодел, научное счастье само шло в руки.

И в тот как раз день, когда намеревался начать заключительные программы, его вызвал начальник спецтюрьмы:

— Как Исаев? Вы с ним, говорят, много возитесь?

Поскольку начальник был обыкновенным тюремщиком, к науке не имел никакого отношения, на ученых смотрел с открытым юмором, не

лишенным, впрочем, доброжелательства, Ливин рассказал ему про работу.

— Ну и хорошо, — ответил тот, внимательно выслушав доктора. — Завтра комиссия приезжает... Ему, оказывается, вышку дали, а полных придурков не шлепают... Так что вы уж порадейте, чтоб он, понимаете, показался нашим гостям более или менее нормальным.

— Я умоляю вас, — Ливин прижал свои девичьи руки к старческой груди, — я вас умоляю, Роман Евгеньевич! Этого зэка нужно спасти! Я работаю с ним во имя науки! Нашей, русской науки! Он может опрокинуть всю диагностику, которая была раньше! Молю вас, Роман Евгеньевич!

— Товарищ военврач, — сухо отрезал начальник, — вы мое приказание слышали? Слышали. Извольте исполнять... Советский народ, понимаете, строитель коммунизма, терпит нужду, еще не всюду живут так, как мы того хотим, а нам, понимаете, с придурочными контриками цацкаться, которые пищу рабочего класса жрут?!

...Дождавшись, когда персонал ушел по домам и остались одни лишь надзиратели, Ливин заглянул в камеру Александра Исаева:

— Санечка, завтра к тебе приедут разные люди, — прошептал он. — Будут спрашивать тебя... Так

ты молчи, Санечка, ладно? Ты молчи! Молчи, как раньше! К тебе плохие люди придут, ты им не верь, на вопросы не отвечай, понял меня, сынок?

— Я не твой сынок, — так же тихо ответил Александр Исаев, — у меня папочка есть, он красивый и очков не носит...

Доктора Ливина арестовали на рассвете — камера Исаева-младшего прослушивалась.

...Члены комиссии, прибывшие утром, внимательно ознакомились с историей болезни зэка 187-98/пн, затем вызвали Александра Исаева в комнату, залитую солнцем, предложили сесть; он, глядя на них непонимающим взглядом, стоял молча.

— Санечка, вы ведь уж и говорить начали, — копируя манеру арестованного Ливина, ласково начал старший комиссии. — Ну-ка, расскажите и нам что-нибудь интересненькое...

Александр Исаев стоял неподвижно, стараясь удержать в себе не столько шепот Ливина, сколько его молящие глаза, в которых ему почудились капельки, — кап-кап, кап-кап, дождик, лей, грибочки, растите скорей... Лизанька... Это в пионерлагере пела Лизанька...

— Ну, Санечка, мы ждем, — по-прежнему ласково и неторопливо продолжал председатель

комиссии. — Мы ведь хотим выписать тебя... Отпустить домой ... К родителям, если твое дело действительно пошло на поправку... Доктор Ливин считает, что ты уж совсем поправился...

Александр Исаев по-прежнему стоял неподвижно, смотрел сквозь этих людей, ворошивших какие-то бумаги, и не произносил ни единого слова.

Тогда председатель комиссии, довольно молодой военный врач, осторожно, с долей брезгливости, повернул черный рычажок под столом — терпеть не мог отечественной техники, непременно подведет в самый важный момент.

В комнате послышалось завывание ветра, далекий треск морзянки, чьи-то размытые слова, набегавшие друг на друга.

А потом, прорываясь сквозь эту далекую пургу, явственно прозвучал голос Максима Максимовича Исаева:

— Сыночек, ты слышишь меня?!

И Александр Исаев, сделав шаг навстречу, закричал:

— Папочка, миленький, слышу! Слышу тебя, родной! Мне уже совсем хорошо! Я почти все вспомнил, папочка! Где ты?! Папочка?! Отвечай же! Хочешь, я еще громче закричу? Ты слышишь

меня?!

Военврач выключил магнитофон и кивнул надзирателям: «Можете уводить».

— А папа? — по-детски пронзительно закричал Саня. — Папочка! Я же здесь! Почему ты замолчал?! Я здоров, папочка! Я помню! Я вспоминаю, папа!

...Александра Исаева признали вменяемым и увезли в другую тюрьму.

Когда трем исполнителям показали его — один из них должен был во время конвоирования по коридору выстрелить осужденному в затылок, — самый рослый из них сделался вдруг белым как полотно:

— Так это ж наш капитан! Это Коля! Он нам в Праге жизнь спас! Товарищи, он наш! Он наш! Это ошибка, товарищи!

— Ты на одуванчик подуй, — тихо сказал Исаев-младший, — детишки по миру разлетятся. — А потом улыбнулся загадочно: — Мне в спину нельзя... Мне в голову надо, она у меня болит, а спина здоровенькая...

...*Исполнитель* Гаврюшкин был расстрелян через семь дней; провел пять суток без сна на конвейере: «Кто рекомендовал пролезть в орга-

ны? С кем снюхался в Праге в мае сорок пятого?!»

...Начальник команды получил строгача с занесением.

Заместитель начальника отдела кадров отделался выговором без занесения в учетную карточку.

Начальнику тюрьмы было поставлено на вид.

18

Влодимирский чувствовал, что *наверху* происходит нечто странное, непонятное ему, какое-то дерганье и суета, начинавшаяся вдруг и столь же неожиданно кончавшаяся.

Разгадывать политические ребусы — работа, непосильная для обычного человека, хотя и с полковничьими погонами, да еще при полнейшем расположении начальства: как абакумовского, так и комуровского (считай, бериевского). Именно это последнее — благорасположение с *двух* сторон — держало его в состоянии постоянной напряженности, не оставляя времени исследовать то, что так беззвучно и незаметно, но давно и грозно ворочалось в Кремле: мимо него не проходили ни разговоры о семье Молотова — странные разговоры, тревожные; ни намеки на то, что Сталин перестал принимать члена Политбюро Андрея Андреевича Андреева, который в свое время тесно сотрудничал с Дзержинским; прервал отношения с Ворошиловым; постоянно — так было в тридцать шестом, рассказывали старожилы, — вызывает Вышинского; явно при-

близил Абакумова; Берия принимает реже, чем Виктора; маршал по этому поводу сухо заметил: «Зарвался».

Он несколько растерялся после недавнего разговора с Комуровым потому еще, что тот поинтересовался: «Ты твердо убежден, что Исаев не гонит липу по поводу его рукописи, хранящейся в банке?»

Значит, и это навесили на него: если Исаев не лжет, удар придется именно по Лаврентию Павловичу — бить есть по чему: именно тот приказал Шандору Радо после заключения договора о дружбе с Гитлером не проявлять активности; именно он запретил Шандору привлекать к работе Рёслера, человека, имевшего прямую связь со штаб-квартирой фюрера, — «провокатор и английский шпион». Именно он же, Берия, в панике, в шесть утра двадцать второго июня, когда началась война, подписал шифровку Радо: «Платите Рёслеру любые деньги, только б работал!» И презрительный ответ Шандора: «Рёслер работает не из-за денег, он не осведомитель, а борец против нацизма». А расстрел всех наших нелегалов, внедренных в Германию? Прекращение разведработы против гитлеровцев? Неважно, что приказал Сталин, — подписал-то Берия... А дело

Кривицкого? Исаев вполне мог с ним встречаться, а тот знал все о процессах тридцатых годов... В Испании он виделся с Орловым — исчез, голубь, а работал в Центре, для него тайн нет... С Леопольдом Треппером, «Большим шефом», контачил... С Сыроежкиным дружил, с Антоновым-Овсеенко... На кой черт Берия уступил кресло Абакумову?! Сам ведь ушел, никто не принуждал... Ах люди, люди, порождение крокодилов... Неужели нельзя жить дружбой? Открыто? Нараспашку?! Одно ведь делаем дело!

Дело? *Дела*, усмехнулся Влодимирский; ставим спектакли в угоду директору театра...

Хорошо, допустим, я ввожу в комбинацию с Валленбергом и Исаевым моего Рата, сулю ему вторую звезду на погон и боевой орден... Но ведь Сталин дал честное слово Каменеву и Зиновьеву, что их не расстреляют, и дал его в присутствии Ворошилова, Ежова, Ягоды, Миронова... Ведь именно после этого у чекистов гора с плеч свалилась: никаких расстрелов не будет, речь идет лишь о политическом уничтожении троцкизма, кровь ветеранов большевистской партии не прольется... А ветеранов партии расстреляли через полчаса после того, как они кончили писать прошения о помиловании, — на рассвете; день,

говорят, был на редкость солнечный. И это узнали старики Дзержинского и взроптали: «Сталин — лгун, ни одному его слову нельзя верить», и их стали косить из пулеметов... Тысячами... Десятками тысяч... «Ты это о чем?» — грозно спросил он себя, как-то съежившись, — такое слышал в себе впервые. И ответил: «Это я о Влодимирском, о тебе, дурак!»

...Он дважды прослушал запись разговора Исаева с Валленбергом и до конца убедился в том, что исповедь обоих — предельно искренна, их надо немедленно освобождать, нет за ними никакой вины... Но кто же колол Валленберга на этот самый «Джойнт»? Почему мне никто не докладывал об этом? Одно время с ним работал Рюмин, потом Рат... Рат — мой, но он мне про это не говорил. Почему? Рюмин, судя по словам Комурова, теперь тоже будет нашим. Но и он молчит... Сталин расстреливал тех следователей, кто не мог справиться с людьми, арестованными по его приказу.

Ну хорошо, допустим, я вывожу на процесс Валленберга и его обличают Риббе, Штирлиц, Рат — введу его в комбинацию как «связника» из Лондона.

Процесс против Каменева проводили в Ок-

тябрьском зале, ни одного пропуска по приказу Сталина не дали ни единому члену ЦК или ВЦИКа. Зал был забит работниками НКВД: согнали стенографисток, уборщиц, курьеров, надзирателей.

А Пятакова судили при иностранцах. Почему пошли на такой риск? Где гарантии, что обвиняемые не начали бы орать в зал правду? Кто знает, как этого добился Ежов? Придется просить у Берия санкцию на ознакомление со *спецпапкой*... Даст ли? Ответы подсудимым писал Сталин, это известно, захочет ли Берия, чтобы я воочию в этом убедился?

А что, если я проведу процесс, а меня после этого уберут, как убрали всех в НКВД, когда пришел Ежов, а потом Берия? Ведь тех, кто поставил гениальные спектакли, которых не было в истории человечества, перестреляли!

Так и не ответив ни на один из этих вопросов, Влодимирский вызвал машину и отправился в Театр оперетты на площадь Маяковского.

Сначала он никак не мог сосредоточиться на шуточках старика Ярона, потом увлекся тем, как себя подавала Юнаковская; закрыл глаза, слушая арию, исполнявшуюся Михаилом Качаловым, постепенно спектакль захватил его, растворил в себе, успокоил.

Выходя из подъезда, подумал: «Все же оперетта — очень доброе искусство, дает надежду на выход из самых трудных положений, когда, кажется, трагическая развязка неминуема... Говорят, «легкий жанр»... Ну и замечательно, что легкий! В операх или топятся, или помирают, чего ж в этом хорошего? Вот бы и назвать оперу — «тяжелый жанр»...»

Приехал домой, решив не возвращаться в *контору*, однако жена сказала, что дважды звонил помощник, разыскивал.

Влодимирский набрал номер, сухо поинтересовался:

— В чем дело?

— Гнедов ждет вас с чрезвычайным сообщением.

Гнедовым был следователь Сергей Сергеевич; прижимал к себе папку, в которой лежал лишь один конверт — только что нашел на Центральном почтамте: письмо из Лос-Анджелеса некоему Максу Брунну от Грегори Спарка; обратный адрес, марки, все честь по чести.

Влодимирский прочитал русский перевод:

«Я пытался найти Вас и Пола повсюду.
Я пишу туда, где, быть может, вы сейчас

находитесь. После гибели моих детей и жены хочу передать Вам и Полу мое проклятие. Я пишу это за несколько минут до того, как нажму спусковой крючок пистолета. Я проклинаю Вас не как Брунна, а как носителя идеи добра и справедливости. Такой идеи нет, не было и не будет на этой земле. Я прощаю Вам *лично* то зло, которое Вы мне причинили. Но Вам никогда не будет прощения Божьего. Человек да соразмеряет силы свои!

Грегори Спарк».

Владимирский походил по кабинету, потом позвонил к Комурову: тот обычно сидел до той поры, пока из Кремля не уезжал Сталин.

— Заходи, — отозвался тот. — Что-нибудь экстренное?

— Да. Очень.

...Комуров отложил письмо в сторону:

— Ну и что ты об этом думаешь?

— Ничего не понимаю, — признался Владимирский. — Ясно только одно: Исаев не блефовал. Он говорил правду про свои контакты в Штатах.

— В его отчете, что он гнал на *даче*, есть два опасных имени: Пол Роумэн и Грегори Спарк. Дру-

гих контактов из Штатов у него не было, верно?

— А черт его знает, — угрюмо отозвался Владимирский. — Особый случай... Я его не понимаю, совершенно не понимаю... Пол-то этот самый тоже исчез, а ведь Исаев все первые часы кричал про Пола и Мюллера...

— Не паникуй... Что это ты вдруг? Я прослушал его беседы с Валленбергом... Разделаемся с этим чертовым шведом, а Исаева потрясешь, не такие кололись... В конце концов получишь адреса, если таковые остались в Америке... Ничего, мы рукастые, достанем... Да и потом у Лаврентия Павловича, мне кажется, появились какие-то особые виды на этого Исаева...

— Но ведь Валленберг отказывается брать на себя «Джойнт»... Он вполне популярно объяснил, что это такое, нельзя выставлять себя на посмешище.

— А мы сейчас и не будем жать на «Джойнт», — ответил Комуров. — Сосредоточь внимание на его переговорах с гестапо, Эйхманом, он же этого не отрицает... И с Салаши... И, возможно, с *товарищем* Ласло Райком, — медленно добавил Комуров. — Да, да, с нашим коллегой из Венгрии.

— Что, плохо с ним? — осторожно поинтересовался Владимирский.

— И не только с ним одним... Его настоящая фамилия, кстати, Райх, он такой же венгр, как я эстонец...

— Тогда надо вводить еще одного человека в комбинацию...

— Вводи, *дело* закреплено за тобой.

— Я хочу подсадить к Валленбергу нашего Рата.

— Резон?

— Хочу попробовать через него узнать, что Исаев написал Валленбергу, а тот сжевал...

— Думаешь, сможет?

— Попытка не пытка.

Комуров засмеялся:

— Э, нет, милый! Пытка — это попытка, а не наоборот!

— Товарищ генерал, — осторожно спросил Влодимирский, — а если Лаврентий Павлович имеет виды на Исаева, может, не выводить его на процесс?

Комуров после паузы повторил задумчиво:

— Твое *дело*, дорогой, тебе и решать...

В тот же день Исаева перевели в просторную камеру с душем: его место занял Рат — окровавленный, в изорванной рубашке, в туфлях на босу ногу, в полубессознательном состоянии. Два дня

Валленберг выхаживал «англичанина», потом тот рассказал, что от него требуют признания, что он ехал в Будапешт в январе сорок пятого на встречу с неким Райком и шведом Валленбергом, вез доллары.

Сидел он в камере Валленберга два месяца и расположил его настолько, что тот сказал: «Я соглашусь на процесс только в том случае, если получу свидание с матерью, шведскими дипломатами и адвокатом. И если они будут присутствовать в суде».

А на следующий день добавил фразу, которая сделала ясным, что Исаев написал ему:

— Иначе обвинение не получит свидетелей. Пусть тогда плетут что угодно, фарс и есть фарс.

...Аркадий Аркадьевич поздравил Рата с успехом, обнял, сказал, чтоб отдыхал неделю.

...Арестовали Рата в приемной Влодимирского, отправили в одиночку; через месяц зашел Сергей Сергеевич:

— Рат, у вас одно спасение: рассказать на процессе все то, что вы говорили в камере. Впрочем, это спасение не только ваше, но и всей семьи: мы их сегодня забрали — связь с еврейскими буржуазными националистами...

...Валленберга вызвали на допрос через полчаса после того, как Влодимирский предложил Исаеву переодеться в полковничий китель: «Едем встречать сына».

Заказал ему стакан кофе и сушки, сказал, что вернется через десять минут, и покинул кабинет.

Следователь, сопровождавший Валленберга, шепнул:

— Сейчас наконец вы встретитесь с тем, кто все эти годы курировал ваше дело. Постарайтесь договориться с ним миром, он человек крутой, но справедливый.

Следователь открыл дверь кабинета Влодимирского, обменявшись стремительным взглядом с помощником, поднявшимся из-за своего бюро; пропустил Валленберга; встал у двери.

Валленберг увидел седого полковника, который медленно обернулся к нему, узнал Исаева, глаза его округлились, наполнились ужасом, он тонко закричал и, наклонив голову, бросился к окну.

Следователь и ворвавшийся помощник схватили Валленберга и, повалив его, начали крутить руки.

Исаев поднялся, схватил стул и со всего маху ударил им лощеного помощника по голове. Тот отвалился, Исаев взмахнул стулом еще раз, чтобы

обрушить его на голову второго, но руку его вывернули, кабинет заполнился людьми, Аркадий Аркадьевич орал что-то, брызгая белой пеной, а потом Исаев потерял сознание от боли...

...Через три года в одиночку Исаева пришел человек, явно загримированный, и, тщательно скрывая акцент, спросил:

— Хотите знать, кто виновен в вашей трагедии?

Исаев безразлично молчал.

Человек в темных очках и с неестественно льняной шевелюрой — парик, ясное дело, — протянул ему постановление ОСО на расстрел жены и сына с резолюцией Сталина.

Реакция Исаева была странной: он согласно кивнул.

— Конечно же, хотели бы отомстить? — усмехнулся человек.

— История отомстит, — ответил Исаев. — Человек бессилен.

Посетитель еще глубже сунул кулаки в карманы плаща и мягко заметил:

— Я попрошу, чтобы вам дали прочесть Горького. Найдете нужную фразу: «Человек — звучит гордо». Особенно советский человек. А не вы ли пример для советских граждан, полковник?

И, не дожидаясь ответа Исаева, вышел из одиночки...

...В салоне «ЗИСа», стащив с себя льняной парик и очки, Берия задумчиво сказал Комурову:

— Переведите его в хороший лагерь, где есть отдельные домики... Отхаживайте, как любимую... Если Рюмин или еще кто будут интересоваться, где он, — а я это вполне допускаю — ответите, что вытребовали в мою «шарашку»... Познакомьте его с процессом над Трайчо Костовым, Ласло Райком и Яношем Кадаром... Подготовьте материалы о подготовке процесса над Сланским и Артуром Лондоном — с этим он был знаком лично, я не поленился потратить еще два дня на его личное дело... Вот и все. Приведите его в форму... Пусть говорит все, что хочет, — не записывайте ни одного его слова... Лагерь должен быть на расстоянии не более двух часов лета до Москвы: Исаев может понадобиться мне в любой день и час, днем или ночью.

...Первые дни Исаев вообще не мог спать, снотворного не давали, только массировали.

Читал. Сначала не очень-то входил в текст, перед глазами стояли лица Сашеньки, Саньки, Валленберга, Пола, Никандрова, Спарка, Ванюшина — они все время были с ним, в нем, перед

ним...

Потом, однако, стал вчитываться: газеты давали все. И постепенно, перейдя от первых двух полос — фанфарных, торжественных, чуждых Началу, — к третьей и четвертой, он все больше и больше ощущал, что его, прежнего, нет уже; пуст; если что и осталось, то лишь одно — отчаяние. Оно было безмерным и величавым, как огромный океан в минуты полного штиля. Он запрещал себе нарушать этот океан отчаяния вопросами и ответами, он знал, что не сможет ответить ни на один вопрос; он не чувствовал в себе сил, воли и гнева, хотя именно гнев сокрыт в подоплеке отчаяния — затаенный, холодный, лишенный логики и чувства, чреватый таким взрывом, который непредсказуем так же, как и неотвратим...

19

...Забившись в угол «паккарда», окруженного пятью «линкольнами» и «ЗИСами» охраны, Сталин любил проноситься по узенькой горловине ночного Арбата, вырываться на Смоленскую и оттуда, на огромной скорости, словно танковая атака, *занимать* всю Можайку, отправляясь отдыхать на Ближнюю дачу.

Иногда, впрочем, он говорил начальнику охраны: «Хочу посмотреть людей».

Тот, как и все окружавшие генералиссимуса, обязан был понимать не слово даже, а намек, интонацию, паузу, генерал успевал дать команду по трассе — помимо батальона охраны, расквартированного в казарме, оборудованной в бывшем ресторане «Прага», на Арбат мгновенно перебрасывалось еще одно подразделение: люди в коричневых и синих драповых пальто стояли на расстоянии ста метров друг от друга, в поле взаимной видимости; снайперы занимали все отдушины на чердаках, генералиссимус мог ехать со скоростью сорока километров, улыбчиво обнимая своими желто-рысьими глазами прохожих,

их лица, одежду, сумки в руках...

Однажды Георгий Федорович Александров, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК, предложил Сталину ознакомиться с совершенно секретными переводами дневников «колченого» — так, с легкой руки Деканозова, в близком окружении Сталина звали рейхсминистра пропаганды Геббельса.

Сталин равнодушно кивнул на стол: мол, оставьте, будет время — погляжу, но не обещаю, занят...

Читал всю ночь, с трудом удерживая себя от того, чтобы не делать карандашных пометок (на «Майн кампф» наследил, не мог себе этого простить, тем более что экземпляр был не его, а Ворошилова, выпустил еще Зиновьев в 1927-м, для членов ЦК — «угроза №1»; просить, чтоб вернул, нельзя, не преминет полистать, простован-то простован, а дока). Порою, хуже того, увлекшись, он делал отчеркивания ногтем, тюремная привычка; отучил, кстати, сокамерник Вышинский: «Коба, у вас крепкая рука, давите большим пальцем, очень заметно, охранка умеет работать с книгами арестантов (сидели в Баку), могут набрать на вас материалы, будьте осторожны».

Особенно интересовался церемониями встреч

фюрера с нацией — Геббельс организовывал это артистически, особенно с детьми и старушками, непременно в небольших городках, истинная легенда, которая останется в веках, рождается в сельской местности, город мгновенно поглощает все новости, растворяет их в себе; беспочвенность интернационального «асфальта» чревата потерей национальной памяти. Молодец Геббельс, смотрел в корень; если Петр учился у шведов, отчего нам не поучиться у немцев?

...Сталина заинтересовала эта глава потому особенно, что он в отличие от Гитлера, любившего *зрелища*, предпочитал держаться в тени, с одной стороны, он слишком хорошо знал русских, их сдержанность, в чем-то даже зажатость, а с другой — страшился разрушить ореол, созданный пропагандой: вместо высокого, широкоплечего *русского* военачальника и ученого — только поэтому Вождя — люди увидят рябого, плешивого, маленького человека с прокуренными зубами, седого и малоподвижного, страшащегося, что его может окружить тесная и душная толпа незнакомых ему людей.

Назавтра Александров заметил свою папку точно на том же месте; решил, что Сталин не прочитал; тот, увидев взгляд *академика*, усмех-

нулся:

— Как-нибудь в другой раз прогляжу... Спасибо... Можете взять, не было времени...

...По прошествии четырех лет Александров убедился, что Сталин эту папку с рецептами «как делать фюрера» прочитал. Поскольку его последние встречи с *народом* состоялись в конце двадцать девятого, когда он выехал в Сибирь во время трагедии с хлебозаготовками, пришло время дать новую пищу для разговоров: для этого поэту Долматовскому позволили напечатать поэму о поездке Вождя на фронт, к солдатам, — рассчитано на интеллигенцию; в Понырях и Орле, предварительно нашпигованных охраной, Сталин прошелся по улице возле станции, где работали строители: назавтра об этом знала вся Курская железная дорога; на шоссе из Сочи в Гагру шофер его машины остановился возле мальчика (отдел охраны заранее подобрал русского, Колю Саврасова; грузина, абхазца или армянина — их возле Адлера много — решительно отвели); в тот же день ликовало все Черноморское побережье.

Во время отдыха на своей скромной маленькой дачке возле Сухуми (всего семь комнат, кинопросмотровый зал и бильярдная) Сталин зашел в один из трехэтажных домов, где жила охрана,

и, не обращая внимания на вытянувшихся по стойке «смирно» майоров и подполковников, спустился в подвал, вспомнив, что туда покидали всю библиотеку, после того как сначала Троцкий, а потом Бухарин были выведены из Политбюро.

Провел он там часа два, не меньше; сидел на краешке какого-то скрипучего ящика, перечитывая Троцкого; испытывал при этом непонятное самому ему чувство снисходительно-сострадающего восхищения стилем «врага-брата». Нашел бухаринский томик, написанный в двадцатом: «Экономика переходного периода», тогда Врангель и Слащев бросили клич: «Красных в плен не брать — земли нет! Вешать вдоль дорог без суда!» Именно он, Сталин, первым позвонил Бухарину: «Великолепная работа». Ленин чуть покритиковал, но в общем-то одобрил работу «красного академика»; Троцкий усмехнулся: «Играем в якобинство? Ну-ну! Пора бы думать о металле и железных дорогах, кои наши революционные «троглодиты» предлагают разрушить, поскольку их строили буржуи...»

...Вернувшись к обеду, сделал замечание начальнику охраны Власику: «Стоит ли держать мусор в доме? Молодые офицеры не знают истории нашей борьбы, начитаются без подготовки

— черт знает что может в голову прийти...»

Той же ночью библиотеку погрузили на полуторки, вывезли в лес, облили бензином и сожгли.

Именно тогда он и подумал вновь: «Скоро стукнет семьдесят, а где мои теоретические работы? У Троцкого пятьдесят томов, у Бухарина было чуть ли не двадцать, а что у меня? Подоспело время готовить цикл теоретических трудов, где будут расставлены все точки над «i». На смену Идеи интернационализма должна прийти доктрина Державности».

Он любил думать *впрок*, не терпел спешки, своего любимца Мехлиса осаживал прилюдно: «Это ты в своем кагале кипятись и отдавай команды, мы, русские, любим неторопливую, солидную обстоятельность, запомни».

На торжествах, когда весь мир *гулял* его день рождения и Москва была иллюминирована ярче, чем на Первомай, он, слушая бесконечные речи о великом вожде, гениальном стратеге, лучшем друге, выдающемся ученом, брате и соратнике Ленина, поднявшем на невиданную высоту его учение, несколько рассеянно оглядывая многочисленных гостей из-за рубежа, что привезли ему множество подарков, на какое-то мгновение

отключился; надоела аллилуйщина; как чисто и высоко было в нашем храме в Тбилиси, как прекрасен был хор, когда мы возносили слова Господу и купол вбирал их в себя, давал им новое, иное звучание, *отдельное* от нас, сопричастное с вечностью, а не с бренной плотью...

Глядя на затылок очередного оратора, бритый под скобку (чистый охотнорядец, читал, не отрываясь от бумажки, написанной в Агитпропе и трижды утвержденной на Оргбюро, Секретариате и Политбюро, наверняка какой-нибудь дрессированный мужик из колхоза), Сталин вдруг явственно услышал голос отца Георгия, который говорил им, замеревшим в зыбком восторге семинаристам, литые, *значимые* Слова, а не дребедень, что болтают в этом зале: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть...»

Неожиданно для всех Сталин поднялся — как всегда норовил устроиться один где-нибудь в четвертом ряду президиума, поближе к выходу, — и, балансируя, на цыпочках, стараясь не мешать оратору, покинул зал.

Он вошел в комнату, где были накрыты столы с бутербродами, водкой, минеральными водами,

вином и коньяком, не обратив внимания на вытянувшихся *официантов* и нескольких членов президиума, вышедших перекурить, — сидели уже третий час, а конца и краю чествованию не видно.

Ни к кому не обращаясь, Сталин спросил, где телефон; *официант* и подбежавшие офицеры личной охраны повели его к маленькому столику; он снял трубку, набрал три цифры, но услышал гудок и одновременно голос помощника начальника личной гвардии:

— Товарищ Сталин, это не «вертушка»... Это городской телефон.

— Зачем же меня сюда вели? — Сталин был раздражен и нетерпелив. — Язык проглотили? Головы нет? Водки перепили?

Он, видимо, хотел спросить, где правительственный телефон, но потом досадливо махнул рукой и вернулся на сцену, встреченный бурной овацией, что окончательно вывело его из себя; заставив себя улыбнуться, огладил усы и, подняв руки, попросил всех садиться, легко отключился, когда возникла пугающая тишина, — остался сам с собою, отрешился от суеты; именно в этот момент и понял, что первая фраза, которую напишет в своем *теоретическом* труде, будет перчаткой,

вызовом Троцкому, да и тем читателям, которые хоть что-то помнят: «Ко мне обратилась группа читателей из *молодежи* с просьбой высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания...»

Сталин ничего не слышал, кроме своего глуховатого голоса.

Фразу, родившуюся столь стремительно (такого раньше не бывало, он по десять, двадцать раз правил тексты речей во время борьбы за власть), обсматривал со всех сторон, выверял интонационно, разглядывал со стороны, любовался ею, словно мать новорожденным.

«Отлито; лучшего быть не может, — сказал он себе. — Слово — начало начал Бытия: именно Слово, Язык, существовавший всегда; и Маркс, и Ленин бежали этого парадокса, они норовили все подмять под производство, станки, науку, то есть Базис. Что ж, мне придется вернуть Слову его изначальный, основополагающий смысл... Реальных благ в ближайшем обозримом будущем мы русским не дадим. Что ж, вернем высший смысл Слова — Проповедь... Никого так просто не уговоришь, как русских, им я и передам примат Слова — отныне, присно, во веки веков... Кто только воспользуется моим Откровением? — горестно

подумал он, пробежав невидящим взглядом по затылкам и плешинам своих соратников. — Из тех, кто здесь, — никто. Надо ждать. Ничего. Подождем... И начнем готовить реальную смену — вот что главное...»

...Через несколько дней Академия наук внезапно глухо зашевелилась; была создана секретная группа подготовки; Митин нажимал на президента: «срочно!»; институт, отданный филологу Виноградову — кстати, бывшему зэку, — делал «языкознанческие заготовки» — все это шло на стол Сталину.

Приученный жизнью к неторопливости, к тщательной подготовке удара, от которого противнику не подняться, — иначе не стоит бить, рискованно, — Сталин, расклеив академические заготовки, которые должны стать фундаментом его теоретического труда «Марксизм и вопросы языкознания», после десятого, по крайней мере, прочтения внезапно почувствовал какое-то неудобство, словно новый башмак жал. (Майский рассказывал, что британские аристократы дают своим слугам носить новую обувь; появляться в новых туфлях — дурной тон: истинный аристократ подчеркивает, что носит старые вещи, — чем человек богаче и могущественней, тем меньше

он обращает внимания на одежду; рассказ-намек своего посла Сталин запомнил; следовал во всем, хоть и дал санкцию на арест.)

Он отложил работу, уехал на дачу, много гулял, смотрел фильмы, вырезал цветные фотографии из «Огонька», устроил стол, пригласил Берия, Маленкова и Булганина, был по-прежнему рассеян, анекдоты слушал невнимательно и лишь назавтра понял, чт`о жало.

Три пассажа в академических заготовках его будущего текста прямо-таки *грохотали*: «Октябрьская революция...»

«В Октябре была не революция», — медленно выдавливая слова, сказал он себе, внезапно испугавшись закончить фразу, которая подспудно, безъязычно, но образно, зримо жила в нем многие годы, разрывая душу; как же мучительно было бороться с собою самим, запрещая услышать те слова, которые, оказывается, давно жгли сердце. «Революция — реальная; в Октябре был хаос, — произнес он. В Октябре был *переворот*. Истинная революция, уничтожившая дремучесть русского мужика, поставив его под контроль соседа, сына, бабки, Павлика Морозова, панферовских героев, комиссаров Багрицкого — то есть *власти*, вернувшая его в привычное состояние общинной

круговой поруки, — поди не поработай! — была проведена им, Сталиным, в тридцатом году, когда он, Сталин, осуществил реальную Революцию Сверху!»

...Он вычеркнул во всех заготовках ученых «Октябрьская революция», заменив «Октябрьским переворотом».

Ленин был взрывной силой нации, организатором *разрушения*, он же, Сталин, свершил Революцию Созидания — уникальную, единственную в своем роде.

Ленин считал основоположением марксизма Базис, а засим — Надстройку.

Он ошибался. Он был идеалистом, никогда до конца не понимавшим русский народ.

Сейчас, после войны, когда поднялось национальное самосознание, не Базисы нужны русским и не Надстройки, а признание величавости и незыблемости их Духа — то есть Языка.

И Сталин, ощущая значимость каждого своего жеста, поступка и слова, вписал:

«Сфера действия языка гораздо шире,
чем сфера деятельности надстройки...»

По прошествии недель сделал еще одну правку: вспомнив Вознесенского, Кузнецова и всю эту

ленинградскую группировку, он решил раз и навсегда *теоретически* отрезать Север России от ее «исконной» сущности:

> «Некоторые местные диалекты могут лечь в основу национальных языков и развиться в самостоятельные национальные языки. Так было, например, с курско-орловским диалектом (курско-орловская «речь») русского языка, который лег в основу русского национального языка. Что касается остальных диалектов таких языков, то они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них...»

Поскольку, считал Сталин, этим пассажем он подводил черту под возможностью появления какой бы то ни было «русской автаркии» вознесенско-кузнецовского плана (отныне лишь курско-орловская речь будет истинно русской, а она триста лет под игом страдала — с нею легче, с такими просто управляться; даже Иван Грозный не истребил до конца северный новгородский дух, а сколько веков прошло), он дал указание секретариату предусмотреть включение этого пассажа в его ответ на письмо какого-нибудь

национала.

Просмотрев письма тех филологов, что были заранее утверждены Агитпропом, Сталин не без раздражения заметил:

— Что вы мне сплошную аллилуйщину подсовываете? Неужели дискуссия по ключевому идеологическому вопросу о сути и смысле слова проходит так скучно и серо, что нет любопытных писем?

Поскольку Маленков тщательно муштровал аппарат в том плане, чтобы *наверх* поступало как можно меньше «негативной информации» (определил пятнадцать процентов как максимум), отдел писем тщательно фильтровал поступавшую корреспонденцию.

Однако, когда от Хозяина поступил запрос на «острые отклики», вездесущий академик Митин (Сталин как-то пошутил: «Говорят, у Гитлера были «экономически полезные евреи» — тех не жгли, до времени использовали; надо бы и нам поставить штамп в паспорте Митина: «идеологически полезный еврей»... В случае маленького погромчика это будет служить ему надежной защитой, особенно если подпишут Шкирятов с Сусловым, их прямо-таки распирает от пролетарского интернационализма») сразу передал

письмо от Белкина и Фурера — явно *задиристое*, на таком Сталин выспится, он большой мастер *добивать*...

Получилось, однако, не совсем так.

Белкин и Фурер, восхищаясь (так положено) гениальной работой великого Вождя, поставили вопрос: а как быть с глухонемыми? Поскольку великий Сталин разъяснил советскому народу и всему прогрессивному человечеству все, относящееся к грамматике, словарному фонду и семантике, вывел гениальный закон о том, что мысли возникают лишь на базе языкового материала, опрокинув, таким образом, низкопоклонного аракчеевского идеалиста, псевдофилолога Марра, остался нерешенным лишь один маленький вопрос, связанный с глухонемыми. Ведь они не имеют языка?! На какой же базе возникают их мысли? Всегда, во все века, в любые общественные формации, как явствует из указания товарища Сталина, сначала было слово и лишь на его базе появлялись мысли. Вне слова нет мысли. Как спроецировать это гениальное открытие великого Сталина на убогих? А ведь их миллионы! Может ли самое демократическое общество на земле игнорировать этих несчастных?

Сначала Сталин взъярился, швырнул письмо

Поскребышеву: «У меня нет времени заниматься психологией идиотов!»; потом, однако, вспомнил, что сам просил чего-то острого, без аллилуйщины и надоевших славословий.

Недели полторы Сталин обдумывал сокрушительный ответ, составленный из рубленых, разящих фраз, а потом написал своим четким, безукоризненным почерком:

> «Вы интересуетесь глухонемыми, а потом уж вопросами языкознания. Видимо, это и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что ж, я не прочь удовлетворить вашу просьбу. Итак, как обстоит дело с глухонемыми? Работает ли у них мышление, возникают ли у них мысли? Да, работает у них мышление, возникают у них мысли. Ясно, что, коль скоро глухонемые лишены языка, их мысли не могут возникать на базе языкового материала...»

Когда Сталин показал этот ответ на заседании ПБ, все восторгались, подчеркивая при этом поразительную, разящую логику Иосифа Виссарионовича.

Тот рассеянно ходил по кабинету, не очень-то

слушая членов Политбюро; в голове, однако, все время вертелось возражение самому же себе: «Но если я допускаю Мысль вне Слова, то, значит, прав Марр? А пусть, — вдруг озорно подумал он. — Пусть. Я подчиняюсь Политбюро, их хвалебным отзывам, напечатаю ответ; посмотрим: кто в стране посмеет возразить или хотя бы отметить несоответствие, противоречивость моего ответа... Не посмеют ведь... А с тем, кто решится, следует встретиться, послушать; я совершенно отучился видеть людей, которые хоть в чем-то перечат мне, а это плохо, лишает мысль необходимой активности в защите. В этом кабинете меня все хвалят, газеты хвалят — хотят, чтобы я расслабился! Им всем мое кресло не дает покоя...»

Поразмышляв об этом, Сталин решил не торопиться с тем, чтобы отправлять рукопись членам Политбюро; пусть пока читают отрывки, полностью отправлю позже, когда получу информацию, что они говорят о моем труде дома... «Что они говорят *дома*? — он переспросил себя раздраженно. — Гений и мудрый вождь, вот что они говорят дома! А мне надо знать, что они *думают*! А сие не дано, потому что, когда на скамью подсудимых сядут Молотов, Микоян и Ворошилов, их показания снова, как и Пятакову с Радеком, придется

писать мне — в камере все совершенно теряют чувство достоинства и здравого смысла...»

Поскольку Сталин еще во время войны решил отменить самое понятие «большевизм» (оно слишком уж связывало партию с Лениным, лишало ее державной заземленности, которая куда как надежней синагогальных дрязг лондонского и иных съездов, особенно сейчас, после победы, когда встали задачи по реальному включению всей Европы в орбиту новой социальной структуры, основоположением которой является Русь), он аккуратно вписал пассаж о том, что империи Александра Великого, Кира и Цезаря не могли иметь общего языка, однако есть «те племена и народности, которые входили в состав империи, имели свою экономическую базу и свои издавна сложившиеся языки»...

Прикидку собранной рукописи Сталин, как это было заведено с ленинских времен, пустил «по кругу», разослав членам Политбюро; снова ожидал хоть одного вопросительного знака на полях: «Какая империя имеется в виду? Британская? Но ее нет более. Значит, Российская?..», «Почему «Октябрьский переворот»? Так о нас писали белогвардейцы».

Никто, однако, не сделал ни одного замечания,

лишь восторженные отклики!

Писали членам ПБ их помощники, сами не могут, а какой помощник рискнет подставлять своего шефа?! Вот он, механизм, которому отданы годы труда, вот она, Система, которая гарантирует единство равных при беспрекословности Суда Первого!

...Когда книга вышла, была переведена на все языки мира и введена в курсы всех университетов, Сталин, полистывая *свой* труд (уже привык к тому, что писал он) наткнулся на фразу: «Язык умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка».

Как обычно, Сталин позволил себе услышать эту фразу, полюбоваться ее безапелляционной чеканностью, а потом вдруг резко поднялся с тахты: «А латынь?! Или древнерусский?! Это же бред какой-то! Языки живы вне общества!»

Он сразу достал папку с «нарезами» — был убежден, что этот идиотизм вписал в текст какой-то враг; с внезапной усталостью увидел свой карандаш; сам писал; «ни один из академиков не посмел сказать, что это абракадабра... А кто виноват? Я, что ли? Их рабский характер виноват, их врожденный страх виноват, не я!»

Позвонил министру государственной безопас-

ности и попросил подготовить к утру (было уже около четырех, скоро рассвет) документы с негативными отзывами наиболее ярых антисоветчиков по поводу брошюры «Языкознание».

...Министр тут же поехал к себе, поднял на ноги заместителей, но, ознакомившись с отзывами, понял, что Сталину, во всяком случае лично он, их не понесет. Как он может положить на стол генералиссимуса, например, такое: «В условиях сталинской темницы, при невиданной в истории человечества личной диктатуре, когда люди вынуждены со слезами показного счастья называть «день» «ночью», а «зло» «добром», как может «коммунистический император», истребивший цвет страны, терпеть высказывания академика Марра о том, что «язык (звуковой) стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретениям, побеждающим пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом... Будущий язык — мышление...» Как может терпеть подобное Сталин, который запрещает самое мысль, расстреливает выдающихся ученых России, провозглашает бионику «мракобесием», кибернетику — «происками еврейских космополитов», а генетику — «заговором мирового сионизма»?! В принципе мы можем радоваться

этому, ибо Сталин зримо доказал, что коммунизм лишен какого бы то ни было здравого смысла, если запрещает разрабатывать первооснову военной науки — кибернетику, однако мы не можем не сострадать великому Народу, попавшему в лапы тирана...»

Дальше министр читать не стал, сказав себе, что он не в силах видеть гадость завистливых интриганов, купленных американской разведкой; приказал подобрать отзывы из леворадикальной прессы — коммунистические газеты Сталина бы не устроили, он потребовал абсолютно «нелицеприятную информацию». Кое-как настригли.

Сталин приехал на работу раньше обычного, не к часу, а в двенадцать; кивнул министру, взял у него из рук папку и бросил:

— Ждите указаний.

Тот ждал указаний до пяти вечера, когда Сталин решил перекусить; вышел сосредоточенный; удивился:

— А вы тут что делаете? Я же сказал — спасибо, вы свободны...

...Более всего Сталина умиротворили слова в статье итальянского журналиста, который, приводя его, Сталина, пассаж о том, что «никакая наука не может развиваться и преуспевать без

борьбы мнений, без свободы критики», подчеркивал, что генералиссимус показал ученым в России, чересчур перегибавшим палку в плане критики Менделя и Моргана при явном попустительстве Жданова, претендовавшего на роль идеолога, кто на самом деле является истинным мыслителем России. Именно Сталин не просто не глушит критику, как это делал Жданов, а, наоборот, бесстрашно зовет к ней — вот образец мудрой государственности, преподанный тому же Белому дому, погрязшему в охоте на ведьм; «один—ноль в пользу Джузеппе Сталина; коммунистический выпускник семинарии дает фору политикам со светским образованием...»

...А действительно, подумал Сталин, наше семинарское, истинно теологическое образование было значительно глубже и в чем-то практичней гуманитарного, хотя нас приучали к таинству общения с вечными постулатами, а светская школа давала достаточно широкий разброс знаний, но без той одержимой систематичной сосредоточенности, которой от нас требовали.

...Никогда, ни в одном из своих выступлений Сталин не *задирал* зло ни веру, ни религию, позволяя себе порою чуть тронуть «боженьку», да и то в фольклорном смысле, понятном народу,

которым он безраздельно правил. (Тем не менее священников, истинных подвижников Веры, бросал в тюрьмы, безжалостно гноил в лагерях, расстреливал.)

Если бы я сел на скамью исторического или юридического факультета, признался он себе как-то, не видать мне как своих ушей ни победы над оппонентами, ни, как следствие этого, партийно-государственного лидерства. Мне противостояли все — все без исключения члены Политбюро Ленина и большинство его ЦК, с изумлением думал он, порою не веря себе самому, а сейчас они стали шпионами, диверсантами, врагами народа, осведомителями гестапо; такими и останутся на века в памяти русских.

Что дало мне силу молчать, когда блистал Троцкий? Таиться, пока в Кремле правили Каменев с Зиновьевым? Как я понял, что настало мгновение готовить Каменева и Зиновьева к удару против Троцкого, пугая их тем, что он, герой Октября, председатель Петросовета и Военно-Революционного Комитета, рано или поздно свалит их, ленинцев, чтобы стать во главе партийной пирамиды и подменить учение Старика своим, вполне оформившимся; троцкизм был весьма популярен в Италии, Германии, Франции, Мексике

— особенно после введения нэпа: «шаг назад от революции»...

Мне были видения, думал Сталин; мне был голос Божий, иначе моя победа необъяснима; всем этим крикам о моей гениальности — грош цена, посади на мое место остолопа, и его будут славословить. Да, было Откровение.

Он никогда не мог забыть, с каким блеском Каменев и Зиновьев *раздавили* Троцкого на Тринадцатом съезде партии — первом, который проходил без Старика. Троцкий тогда предупреждал, что РКП(б) на грани кризиса, рождается партийная бюрократия, цифры и отчеты подменяют жизнь, тасуется колода одних и тех же бюрократов, в то время как главной ставкой партии должна сделаться молодежь, особенно студенческая, то есть та, что, кончив гражданскую войну, по ленинскому призыву решила учиться, учиться и еще раз учиться.

Сталин вспомнил, как он тогда легко *подшлифовал* антитроцкистский погром, учиненный «его евреями», заявив себя при этом мастером «товарищеских компромиссов». В угоду Каменеву и Зиновьеву, которые требовали привлечения в ЦК как можно больше рабочих и «упрочения» Политбюро за счет именно русских товарищей,

знающих деревню не понаслышке, он поднял Бухарина и Рыкова: «вот монолитное единство истинных ленинцев». В то же время Троцкого попросил сосредоточиться не только на армии, но и на металлургии и концессионной политике — сделал это уважительно, по-товарищески, обращаясь не как к равному, но как к признанному лидеру.

А сразу же после этого провел тайное совещание с Бухариным и Рыковым: «Каменев и Зиновьев никогда не смоют с себя октябрьского пятна, к тому же они внутренне страшатся справного мужика и нэпа, не пора ли вам, интеллектуалам и практикам ленинизма, брать на себя тяжкое бремя власти?»

И снова мне было видение, подумал Сталин. Сам бы я не смог так точно рассчитать время. Это был голос свыше. Теперь можно признаться себе в этом... Я нашел самые нужные слова: «берите на себя бремя власти». Я? Ничего я не нашел... Я лишь произнес то, что было угодно тому, кто вел меня тогда и ведет поныне...

Через год Бухарин обрушился на Каменева и Зиновьева; Сталин и Троцкий заняли выжидательную позицию: «два выдающихся вождя современного ЦК» сидели в президиуме рядом,

пару раз перебросились записками, пару раз обменялись вполне корректными репликами; в это же время Бухарин, Рыков, Ярославский и Каганович *закапывали* Каменева, Евдокимова и Зиновьева при молчании Троцкого и беспомощной попытке Надежды Константиновны спасти старых друзей Ильича...

На следующем съезде Троцкий вошел в блок с Каменевым и Зиновьевым, но было поздно уже — торжество Бухарина, отстоявшего справного мужика и нэп от нападок «леваков», было абсолютным, линия Бухарина — Рыкова — Сталина победила.

И сразу же после этого тайные эмиссары Сталина — после того, как Троцкий был выслан в Турцию (пусть мусульмане поживятся горячей еврейской кровушкой), — встретились с Каменевым и Зиновьевым: «Да, товарищи, в чем-то вы были правы, выступая против мужицкого уклона, однако никто не мог предположить, что Бухарин и Рыков так открыто отклонятся вправо, время действовать; Сталин один бессилен, начинайте атаку в партийной прессе».

...Когда Бухарин и Рыков были ошельмованы и выведены из ПБ, Сталин почувствовал себя наконец на Олимпе — слава Богу, один! Все, кто

окружал его теперь в Политбюро, — Молотов, Ворошилов, Калинин, Каганович, — были послушным большинством; с Серго и Микояном можно было ладить, поскольку их перевели на хозяйственную работу; пусть себе, это не аппарат... Один, слава Богу, один, руки развязаны наконец... И он начал Революцию Сверху — «сплошную коллективизацию», вложив в нее все презрение к народу, который подчинился ему, как грубо изнасилованная женщина — садисту.

...Именно в тот день, когда Сталин вспомнил ненавистно-любимую им семинарию, по спискам, утвержденным им, было расстреляно еще двести сорок человек, среди них двенадцать докторов наук.

Трое умерли с истерическим криком:

— Да здравствует товарищ Сталин!

По существовавшим тогда порядкам залп можно было давать лишь после того, как приговоренный к смерти закончит здравицу в честь Вождя.

Эпилог

Вознесенского пытали изощренно, днем и ночью; порою попросту отдавали молодым стажерам, чтобы те отрабатывали на бывшем члене Политбюро, портреты которого они еще год назад проносили в дни всенародных празднеств по Красной площади, приемы самозащиты без оружия.

Он тем не менее все обвинения категорически отрицал.

Министр наконец вызвал его к себе — после пяти дней, проведенных Вознесенским в госпитале; приводили в порядок лицо и массировали распухшие пальцы.

— Послушайте, Вознесенский, — заговорил он устало, с болью. — Я не знаю, для кого бо́льшая пытка разговаривать сейчас: для вас или для меня, ранее перед вами преклонявшегося. Улики неопровержимы, вот вам дело, садитесь и читайте, там показания членов Ленинградского бюро, допросы председателя Российского правительства Родионова. Первые подтверждают, что они фальсифицировали результаты парт-

конференции по прямому указанию Кузнецова, который согласовал это с вами. Факт подтасовки бюллетеней бесспорен, все это есть в деле, — министр кивнул на гору папок. — Я нарушаю закон, знакомя вас с делом, которое еще не закончено... Процесс начнется не раньше, чем через полгода, слишком много фигурантов — разветвленный заговор великорусской группы...

— Не было никакого заговора, — сухо ответил Вознесенский. — Не было никакой фальсификации на выборах: либо это работа ваших провокаторов (работали провокаторы Комурова, министр об этом не знал), либо желание следовать политике «показухи», которой поражена вся страна, как раковой опухолью. Смотри, министр, это дело может оказаться твоим последним — тебя после него уберут, как убрали Ягоду и Ежова... Подумай... У тебя в руках сила...

Министр, сделавшись серым от ужаса и ярости, грохнул кулаками по столу:

— Скотина паршивая! Ты меня агитировать вздумал, контра! Я тебе поагитирую...

Через час Вознесенского вывели из тюрьмы — в легком костюме, шелковой сорочке, разрешив повязать галстук, — и посадили в «ЗИС». Рядом с ним сидели охранники в тулупах: мороз был

восемнадцать градусов, деревья покрыты голубоватым инеем, небо бездонное, голубое.

Вознесенского привезли на Красную Пресню, на ту ветку, что шла к пересылке, и пересадили на открытую дрезину; по бокам устроились охранники; у одного на коленях лежал тулуп и меховая шапка; второй держал валенки, в которые были всунуты две бутылки водки, обернутые чистыми бланками допроса.

Полковник, ожидавший Вознесенского возле дрезины, сказал:

— Покатайтесь, поглядите, как хорошеет столица... Когда почувствуете, что превращаетесь в ледышку, подпишите бланк допроса. Вас немедленно напоят водкой, оденут в тулуп и валенки, отвезут в госпиталь. Не подпишете — ваше дело...

Кузнецову, бывшему секретарю ЦК, избитому, окровавленному, высохшему, устроили встречу с женой в кабинете Маленкова.

Есть ситуации, которые неподвластны слову, их нельзя описать — это удел скульптуры или музыки: *выразит*ь неописуемый ужас происходившего.

Когда встреча кончилась, Маленков сказал:

— От вас зависит все: признаетесь — спасу!

Нет — не взыщите. Условия не мои, а товарища Сталина.

Когда министр МГБ СССР Абакумов был арестован по обвинению в потворстве «великорусской оппозиции» во главе со злейшим врагом народа Вознесенским и его подручным Кузнецовым, следователи выбивали из Абакумова показания про то, когда впервые секретарь ЦК Кузнецов потребовал у него дела, связанные с расследованием обстоятельств убийства Кирова, и отчего готовил свой план повторного изучения «загадочной» — как он говорил — «трагедии».

Второе обвинение заключалось в том, что Абакумов, получив устные показания от «агента еврейской шпионской группы «Джойнт» доктора Гелиовича» о главном враче Боткинской больницы профессоре Шимелиовиче и консультанте Лечебно-санитарного управления Кремля профессоре Этингере, расстрелял их, чтобы оборвать нити следствия, которые должны были привести к выяснению истинных обстоятельств гибели товарищей Щербакова и Жданова, умерщвленных еврейскими националистами, которые не могли простить великому сыну советского народа товарищу Жданову героической борьбы против еврейских космополитов.

Абакумов, подвергнутый пыткам, держался стойко, кричал в ярости:

— Про Кузнецова не знаю! А «Джойнт» — по-английски «объединенный»! У них даже в компартии написано «джойнт сентрал комити»! Я ж Валленберга по стене из-за этого размазывал, он мне все объяснил! Я и велел «джойнт» убрать, чтоб не засмеяли! Наши-то всему поверят, а американцы от хохота перемрут! Я жидовню проклятую больше вас ненавижу, но ведь их по-умному надо уничтожать, а не топором! Гитлера забыли, да?! Урок не пошел впрок?!

Сразу после окончания Девятнадцатого съезда партия перестала называть себя большевистской, интернациональной, а стала государственной. Молотов и Микоян не были введены в Бюро Президиума ЦК. Новый министр госбезопасности Игнатьев начал готовить *дело* на Ворошилова — «английского шпиона». Сталин, как всегда, ничего не называл своими именами; в беседе с Игнатьевым вспоминал Троцкого и Склянского, с юмором рассказывал о стычках с Серебряковым — они вместе защищали Москву в девятнадцатом году, два представителя ЦК: один, Серебряков, был тогда секретарем ЦК, второй — наркомнацем, но оба являлись членами Военного совета

фронта, — дивился тому, как Троцкий («надо отдать ему должное, армию держал в руках, хоть и драконовскими репрессиями») оказался завербованным гитлеровцами. «Парадокс истории»; впрочем, история нескончаема; «наш Клим, например, и сейчас взахлеб говорит о том, как блистательно работают англичане в Израиле, как умело закрепляются в Бирме, сколь сильны их позиции в Канаде и Кении... Прямо как член их парламента говорит, а не как русский».

Зная от сталинской охраны, что Сталин неоднократно называл Ворошилова «английским агентом», давно не принимал его, Игнатьев *понял*, что угодно Вождю; начал работу.

Проанализировав все эти факты, особо сосредоточившись на том, что на съезде было только шесть процентов делегатов от колхозного крестьянства (в основном руководители совхозов и колхозов) и восемь процентов от рабочего класса (Герои труда, *обкатанные* на предыдущих совещаниях сталевары, ткачихи, имена которых были на слуху у народа), Берия понял, что Сталин совершенно потерял основополагающие ориентиры: если восемьдесят шесть процентов делегатов представляли новый класс — партийно-государственную бюрократию, то как можно в

дальнейшем говорить о «партии рабочего класса и трудового крестьянства»?! Фикция! Русские хоть и терпеливы, но глухой *протест* теперь фиксировался органами не только в деревнях, но и повсеместно (в Донецке на монумент — на голову Вождя — надели ведро с мазутом; в Москве, Киеве и Ленинграде в парадных и на стенах домов — во дворах, к счастью, — расклеивались листовки, призывавшие к борьбе за ленинизм, против «кровавого тирана», предающего идеи демократического социализма); несколько раз в Салехардские концлагеря, в Тайшетлаг, Джезказган, Молотовский каторжный комплекс, в Комилаг приходилось десантировать дивизии: восстания зэков приобретали все более организованный характер, чувствовалась рука арестованного генералитета и высшего офицерства.

Когда Абакумов (за три дня перед арестом) доложил, что производительность труда в концлагерях резко падает, заключенные по-прежнему мрут от голода, Сталин, опросив мнение членов Политбюро и не получив удовлетворившего его ответа, обратился к Абакумову:

— Ваше предложение?

Тот ответил:

— Товарищ Сталин, если мы уберем десять процентов заключенных, тогда норма питания автоматически увеличится, работа пойдет успешнее.

— Что значит «уберем»? — Сталин остановился посреди кабинета, упершись взглядом в лицо Молотова. — Отправите по домам, что ли?

— Нет, — ответил Абакумов, — я должен получить санкцию на ликвидацию больных и наиболее истощенных.

— Не ликвидацию, — по-прежнему не отрывая взгляда от Молотова, жена которого сидела в концлагере как «еврейская националистка», — а расстрел. Нет смысла танцевать на паркете, здесь не бал, а Политбюро... Приучитесь называть вещи своими именами, пора бы... И не больных надо расстреливать, а наиболее злостных врагов народа, диверсантов и шпионов... Больные и сами помрут... Десять процентов многовато, а пять процентов достаточно. Как, товарищ Молотов? Согласны?

— Д-да, т-товарищ Сталин, с-согласен, — ответил тот, заикаясь больше обычного.

Берия понимал, что после предстоящего ареста Молотова и Ворошилова из тех вполне могут выбить показания и на него с Маленковым.

Поэтому через неделю после ареста Абакумова он отправился к Суслову. Затем, посоветовавшись с Хрущевым, которого Старец перевел в Москву первым секретарем горкома, — чего мужика бояться, не конкурент, образование не позволяет, но в раскладе сил необходим, врубит, если надо, от всего сердца — Берия поехал к Маленкову.

— Егор, я поглядел абакумовские дела с врачами, которых он прикрывал, и пришел в ужас: а если еврейские демоны решат мстить нам и обратят свой удар против товарища Сталина? Ты представляешь себе, что постигнет нас, родину, мир, наконец?!

Маленков поднялся из-за стола:

— Неужели они могут пойти на такое?!

— Ты считаешь невозможным? Тогда я снимаю вопрос. Просто я не мог с тобой не поделиться... Все-таки Иосифу Виссарионовичу за семьдесят, мы должны беречь его, как отца...

— Нет, нет, хорошо, что ты поднял этот вопрос... Что надо предпринять?

Берия, готовясь к этому разговору, заново просмотрел все материалы, связанные с болезнью Ленина, когда Политбюро поручило генеральному секретарю Сталину *личную* ответственность за лечение Ильича.

Наученный читать не только строки, но и типичные византийские междустрочья, Берия многое понял, лишний раз испугавшись вседозволенного коварства Старца.

— Предпринять можно одно: провести на Политбюро решение о твоем назначении на пост ответственного за состояние здоровья товарища Сталина.

Маленков долго смотрел в бесстрастное лицо Берия, выражения глаз маршала *понять* не мог, бликовали стекла пенсне, потом ответил:

— Я завтра же внесу на Политбюро предложение о придании тебе функции лично отвечающего за состояние здоровья Иосифа Виссарионовича...

...Что и требовалось доказать!

Когда решение состоялось (все проголосовали «за» при одном воздержавшемся — Сталине: «Я себя отлично чувствую, зря вы это затеяли», но при этом смотрел на Маленкова с добротой), Берия встретился с Комуровым и сказал во время прогулки по аллеям Серебряного бора:

— Включай в работу того самого следователя... Как его? Забыл фамилию... Ну, ты его взял «на подслухе», он Гитлера хвалил...

— Рюмин, — сказал Комуров. — Подполковник Рюмин.

— Ты от него отодвинься, — заметил Берия, — чтоб никто и никогда не прочитал никаких твоих с ним связей... Передай кому-то из новых игнатьевских ребят... Не сам, а через третьи руки...

— А в какую работу его включать? — спросил Комуров.

Берия ответил не сразу, сунул кулаки еще глубже в карманы пиджака, несколько минут шел молча, в трудном раздумье, потом спросил:

— Кто у тебя есть из надежной агентуры в Кремлевке? Из врачей, работающих там постоянно?

Комуров начал неторопливо перечислять, загибая короткие пальцы.

— Евреи не годятся, — внимательно выслушав его, заметил Берия. Попросил рассказать о каждом подробнее; слушал вбирающе, замерев. — А вот эта твоя Тимашук... Она кардиолог?

— По-моему, сидит на электрокардиограммах.

— Годится... Кто ее вербовал?

— Абакумовцы.

— Прекрасно. Подведи к ней кого-нибудь из непосаженных еще абакумовских парней, и пусть они поработают с ней, пусть подскажут, как написать письмо в МГБ, что в Кремлевке действует банда врачей-убийц, еврейский заговор против членов Политбюро, а в основном против

товарища Сталина.

Берия заметил, как Комуров, обычно краснолицый, побледнел, понизил голос:

— Кого называть? Поименно? Или вообще?

— Кто тебя в Кремлевке лечит?

— Постоянно — Коган... Горло ведет Преображенский... Егоров консультирует...

Берия поморщился:

— Нужны евреи. Коган, его брат, мой доктор — Фельдман, брат Михоэлса профессор Вовси, профессор Зеленин, тоже еврей, кстати... Но — тебя нет во всем этом. Ты — человек-невидимка. Недреманное всевидящее око. Донесение этой самой Тимашук должно попасть в руки Рюмина... Твои люди, имеющие на него влияние, помогут ему сочинить письмо Сталину... Мне — ни в коем случае. Только копия... Срок даю минимальный. Как себя ведет министр Игнатьев в последние дни?

Комуров усмехнулся:

— Хоть и болен, но пообещал научить всех нас работать без белых перчаток...

— Это в связи с чем?

— Лозовский, Перец Маркиш, Бергельсон, Фефер, словом, Еврейский антифашистский комитет...

— Верно, — Берия кивнул, — Хозяин торопит, да и костоломам не терпится вкусить дымной кровушки...

Через неделю все члены Антифашистского комитета во главе с членом ЦК Лозовским были расстреляны без суда; стихотворение Квитко «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят», напечатанное во всех школьных хрестоматиях, было предписано заклеить куском белой бумаги, зачеркнув предварительно строки тушью.

Через три дня Сталин согласился принять врачей из Санупра Кремля; профессор Виноградов (Вовси более к Вождю не подпускали) сказал то, что ему порекомендовал «старый друг», личный агент Берия (из его «золотого фонда»): «Товарищ Сталин, я не вижу особых отклонений от нормы, но вам необходим длительный отдых, по крайней мере два-три месяца».

Сталин прореагировал на эту рекомендацию спокойно (в кругу друзей называл Виноградова «куци-куц» — у профессора была такая постоянная присказка), сказал об этом Берия, заметив, что, видимо, поживет на Рице; начал собираться в дорогу. Однако через два дня позвонил в четыре утра: Берия не спал, сидел у аппарата,

звонка этого ждал, ибо получил информацию, что письмо Рюмина о врачах-убийцах передано Поскребышеву.

— Немедленно приезжайте ко мне, — сухо, с трудно сдерживаемой яростью сказал Сталин.

Берия знал, что деспот в Кремле; когда вошел в кабинет, тот — пожелтевший, осунувшийся за день — поинтересовался, подчеркнуто выделяя местоимение «вы»:

— Откуда вы знали, что я здесь?! В это время я обычно бываю на Ближней!

Берия похолодел: если сказать, что звонил на дачу, Сталин спросит, с кем разговаривал, конец, провал; ответил поэтому полуправдой:

— Мне бы позвонили, товарищ Сталин... Мне звонят, когда вы уезжаете...

Сталин кивнул на две странички, лежавшие на совершенно пустом огромном столе для заседаний:

— Прочтите...

Берия внимательно прочитал текст, который знал наизусть, ибо Рюмину помогли сочинять его «верные люди».

Сыграл ярость, ударил кулаками по столу, вскочил со стула:

— Я их завтра же поставлю к стенке!

— Э, нет, — очень тихо, злобно, стараясь не сорваться, проговорил Сталин. — Сначала эта сволочь будет арестована, пройдет круги ада, скажет всю правду, а потом уж выведем на процесс... Все. Идите. Не вы, а патриот России Рюмин раскрыл заговор... Рюмин, простой следователь, а не вы, — Сталин брезгливо заключил, — отвечающий за бесценное здоровье лучшего друга всех народов товарища Сталина...

Берия побледнел:

— Товарищ Сталин, Рюмин выпестован мною, нашими людьми, мы его сориентировали на поиск...

В дверях Берия столкнулся с серым от волнения новым министром госбезопасности Игнатьевым. Тому Сталин сказал лишь несколько фраз:

— Всех врачей — в карцеры. Заковать в кандалы. Применять пытки. Дело поручаю *генералу* Рюмину, вашему *заместителю*. Завтра приму его в пять часов. Все. Идите.

Оставшись один, с внезапным ужасом вспомнил двадцать второй год, когда он, используя врачей, приглашенных из Германии, отправил Ленина в Горки, *запретив* ему (решением Политбюро) текущую партийную и государственную работу...

Услышал вдруг: «Мне отмщение и аз воздам».

Позвонил Маленкову, шел уже пятый час утра:

— Решение Политбюро о моем отпуске отменяется. Все заседания Политбюро и Секретариата буду проводить лично я. Бюро Совета Министров — тоже.

Новых врачей генералиссимус не принимал три недели; через секретариат нашел своего старого друга — еще по Царицыну, тот был военфельдшером, вызвал на дачу, дал себя обслушать и обстучать; старик махнул рукой:

— Ты здоров, Коба... Здоров, как бык... А новым врачам покажись, только пусть я буду при этом... Не в белом халате, конечно, а в сталинке, вроде бы твой денщик...

...После ареста Виноградова, который сразу же согласился сотрудничать со следствием, Сталин, получив от Рюмина первые собственноручные признания Виноградова и Вовси: «работали на англичан, филиал американской разведки и еврейский „Джойнт“», собрал Политбюро:

— Врачей-убийц будем вешать на Лобном месте. Прилюдно. Погромы, которые начнутся следом за этим, не пресекать. Подготовить обращение еврейства к правительству: «просим спасти нашу нацию и выселить нас в отдаленные

районы страны». Кагановичу проследить за тем, чтобы были подготовлены бараки для депортируемых. Молотов отвечает за редакцию текста обращения.

Вечером позвонил Берия:

— Пусть твои *грызуны* (так пренебрежительно звал грузин) приготовят ужин, привезешь на дачу, я приглашаю Хрущева и Булганина, посидим вчетвером.

...Разлив из большой супницы харчо, обратился к Берия:

— Пробуй первым. Если невкусно — выплюнь.

Не отрывал прищуренных глаз от лица Берия, который начал жадно поедать харчо.

Все следующие блюда пробовал только после того, как заканчивали Берия и Булганин с Хрущевым.

К концу вечера подобрел:

— Одному скучно, будем теперь вместе ужинать...

На прощание сказал:

— Завтра присылайте новых эскулапов, пусть осмотрят...

Дождавшись, когда машины Хрущева и Булганина отъехали, Берия сказал с горечью:

— Товарищ Сталин, ведь мерзавца Абакумова

не я назначал, а Жданов... Поднимите архивы — его резолюция стоит... Разве я тогда мог противиться? Я ж в *кандидатах* ходил... Абакумова наши люди разоблачили, Комуров его разоблачил, товарищ Сталин...

Сталин долго, неотрывно, *бегающе* смотрел на Берия, потом, повернувшись, бросил:

— Случись что со мной, тебя первого вздернут... Как паршивого кинто... Рюмин — талант, береги его... Он ненавидит Сион, и верно делает... Все враги народа — жидовня, начиная с Троцкого, я им всегда поперек глотки стоял...

Собравшись, сдерживая нервный озноб, Берия ответил:

— Не только им, товарищ Сталин... У меня есть один нелегал, может быть, помните, он разгадал переговоры американцев с нацистами в Берне... Юстас, он же Штирлиц... Если бы я вам его привез, он бы такое рассказал про *корни*, про союз евреев и американцев с гестапо...

— Не буду я никого принимать, — отрезал Сталин. — Пусть напишет и даст показания на процессе... Если знал — отчего молчал? Еврей, конечно?

— Русский.

— Штирлиц — не русское имя... Пройдет на

процессе как еврей, вздернем на Лобном рядом с изуверами...

Берия решил *разыграть* эту свою последнюю карту, потому что подивился крепкой собранности Старца, хорошему цвету его лица и вновь обретенному спокойствию.

«Если он продержится еще год, — сказал себе Берия, — всем нам конец, разве что Шкирятова пощадит и Суслова, времени у меня больше нет...»

Поэтому его агентура подействовала на людей профессора Тареева, нового руководителя бригады врачей, в том смысле, что необходимо отменить все лекарства, которые ранее были предписаны Сталину «еврейскими убийцами в белых халатах». Более того, поскольку арестованные доктора прежде всего опасались инсульта Вождя (вы´ходили его после инфаркта и двух предынсультных кризов), сейчас надо сосредоточиться на профилактике желудка, активной витаминотерапии (Сталин знал, что Гитлера *держали* витаминами), а все сосудорасширяющие препараты отменить...

Военфельдшер — Сталин звал его Нико — новые назначения одобрил, посоветовав при этом:

— А вообще-то кальцекс надо пить, Коба... Без-

вредно и профилактирует.

...Поскольку курс лечения, предписанный «убийцами» из «Джойнта», был отменен (следуй он ему, неизвестно еще, сколько б прожил), состояние здоровья Сталина ухудшалось с каждым днем; он запрещал себе признаваться в этом; более того, рабочий день теперь начинал не в двенадцать, а на час раньше и спать ложился на рассвете; много читал, стараясь этим заглушить темную ярость, которая душила его, стоило лишь вспомнить Вовси, Виноградова или братьев Коганов. Порою чувствовал, как давит кадык и кружит голову; пил кальцекс.

Готовил еду сам на маленькой электроплитке.

Когда его разбил инсульт и он не отпер дверь своих покоев, охрана позвонила Берия, тот велел взломать замок. Увидев Сталина, лежавшего в странной позе, одетого, глядевшего на него с мольбой, гневно посмотрел на охрану:

— Вы что, не понимаете?! Товарищ Сталин хочет уснуть! Не сметь мешать ему!

...Профессор Тареев, вызванный лишь на следующий день, трясся, не владел руками, плакал; применять те препараты, которыми Виноградов и Вовси спасли Сталина семь лет назад, не имел права; министр Игнатьев дал устную

рекомендацию следователям провести с «врачами-убийцами» консилиум по поводу состояния здоровья «неназываемого пациента».

После смерти Сталина первый заместитель Председателя Совета Министров и министр внутренних дел Берия (МГБ ликвидировали в одночасье), «человек номер два», вызвал к себе Абакумова, беседовал с глазу на глаз пять часов; в карцер Абакумова был посажен бывший генерал Рюмин.

Вскорости «врачи-убийцы» были реабилитированы: сообщение в «Правде» было дано от имени МВД СССР. Берия начал тур борьбы за лидерство, его имя сразу же сделалось популярным в среде советской интеллигенции.

Хрущев, понимая, что такого спускать нельзя, опубликовал в «Правде» статью о нарушениях законности в «бывшем МГБ».

Берия решил ответить ударом на удар: внес предложение на ПБ о нормализации отношений с Тито («это *дело* — фикция и дутое провокаторство; интрига»), выходе на международный рынок и налаживании политического диалога с Западом («мы отстали от технологии на десятилетия»), предложил снять с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины Мельникова,

заменив его истинным украинцем (прекратив таким образом насильственную русификацию республик, вернувшись «к нормам ленинского социалистического интернационализма», выраженного в Завещании). Не забыл он и об эмоциональном аспекте борьбы за лидерство: приказал найти в лагерях и тюрьмах бывших нелегалов, подкормить их, подлечить и дать о них серию материалов в газетах: «В МГБ были не только садисты типа Рюмина, ставленники тирана, но и истинные герои в борьбе с нацизмом».

Исаева нашли во Владимирском политическом изоляторе: полуослепший, беззубый, с перебитыми ногами, он был помещен в тюремный госпиталь. Леопольда Треппера и Шандора Радо выпускать нельзя: работа в «шарашке» продолжается; Радо пусть там сидит, благо Родины прежде всего...

Лишь после этого Берия вспомнил о Валленберге: не помер ли где в одиночке или на каторге?

По счастью, был жив.

Перед тем как пригласить его к себе, Берия поинтересовался:

— Не псих?

— Вполне нормален, — ответил Комуров.

— Постригите, оденьте как следует, накормите

обедом из «Националя», а потом ведите ко мне.

Комуров покачал головой:

— Лаврентий Павлович, рискованно... Иностранец...

Берия, словно бы не услыхав этих слов, посмотрел на часы:

— К семи вечера... Послезавтра...

...Навстречу Валленбергу вышел из-за стола, пожал руку:

— Те, кто мучил вас в течение всех этих лет, трагичных для нашей страны, по моему приказу арестованы. Начато следствие. Мерзавцев ждет смертная казнь, они позорили Сталинскую Конституцию...

— Господин Рюмин? — сухо осведомился Валленберг. — Какова его судьба?

— Этот черносотенец взят первым.

Переводчик не решился корректировать Лаврентия Павловича: слово «взят» перевел дословно.

Валленберг не понял:

— Что значит взят?

— Это значит — арестовали...

— Я могу выступить свидетелем на его процессе?

— Конечно, господин Валленберг. — Берия мяг-

ко улыбнулся. — Мы дадим вам постоянную визу в Москву, вы этого заслужили годами нечеловеческих мук... Хочу надеяться, что вы, несмотря ни на что, не станете игрушкой в руках тех сил, которые по-прежнему норовят разжечь ненависть к Советскому Союзу... Они не хотят понять: начался новый период нашей истории, новое время, мы нуждаемся в друзьях... Вы же видели, что в камерах вместе с вами мучились невиновные советские граждане и никто из них не ругал свою родину, ругали тех мерзавцев, которые обрекли их на муки.

— Я был, есть и останусь другом тех советских людей, которые делили со мною горе... Это были прекрасные люди... И вообще, я не намерен заниматься общественной деятельностью... Я — если вы действительно освобождаете меня — уйду в лоно Церкви.

— Благодарю вас, господин Валленберг. — Глаза Берия повлажнели, он снял пенсне и вытер слезы. — Какие у вас еще пожелания?

— Я бы хотел также выступить на процессе против изувера Абакумова, который проводил со мной первые допросы...

(Берия держал Абакумова в резерве: когда он переместит Маленкова в секретари ЦК, а сам

возглавит Совмин, Виктор вернется в прежнее кресло, кроме него, некому, разве что Меркулов, но опять-таки армянин: Сталин разжег национальную рознь, с чечни и татар начал, евреями кончил, нужно время на успокоение.)

— Вы что-то путаете, господин Валленберг... Абакумов к вашему делу не имел никакого отношения, — ответил Берия. — Он сам был жертвой клеветы, его пытали в этом же здании...

— И аз воздам, — Валленберг был тверд. — Первые недели мной *занимался* Абакумов. Да, именно он. Поэтому я оставляю за собой право прислать моих адвокатов для вызова его в суд.

— Если настаиваете — не смею возражать, — ответил Берия, распрощался с Валленбергом, пожелав ему благополучного возвращения к родным, проводил до двери.

Сразу после этого вызвал Комурова:

— Ты был прав, Богдан. Увы, ты был прав... Подготовь справку, датированную сорок шестым или сорок седьмым годом: «Валленберг умер от разрыва сердца». И запри в сейф. До поры до времени: я намерен свой первый официальный визит нанести в Скандинавию: через них возможен прорыв в технологию, у них можно получить заем... Справку пусть сделают по форме,

подпишется начальник тюремного госпиталя, протокол и все такое прочее, чтоб в Стокгольме никто не подточил носа...

...Арест Берия, необходимый и в высшей мере своевременный, был, однако, оформлен для печати по рецептам Сталина и того же Берия: «югославский и английский шпион»; через полтора года после расстрела «югославского шпиона», *убившего* Сталина, в Белград к «товарищу Тито, верному коммунисту-ленинцу», отправилась советская делегация во главе с Хрущевым.

Маленкова, который произнес слова, кивнув на Берия во время того памятного кремлевского заседания: «Арестуйте его, это враг народа!» — среди членов делегации не было.

В секретном архиве Берия было обнаружено множество фактов о пытках, которые применялись к участникам процессов тридцать шестого — тридцать восьмого годов; часть этих фактов была приведена Хрущевым на XX съезде партии, который означал начало конца Сталина, мучительное и кровавое.

Двадцать третьего декабря пятьдесят третьего года советские газеты опубликовали сообщение Верховного суда Союза ССР, в котором сообщалось, что приговор Специального Военного

Присутствия Верховного суда СССР в отношении присужденных к высшей мере наказания — расстрелу — Берия, Гоглидзе, братьев Кобуловых, Деканозова и других приведен в исполнение.

Казнь проходила в присутствии и под контролем маршала Ивана Конева.

Дело бывшего заместителя министра бывшего МГБ Рюмина было выделено в отдельное производство.

Рюмин был осужден и расстрелян.

Следом были осуждены и расстреляны Комуров и Влодимирский.

Абакумов, обвиненный (после захвата Берия в сталинском кремлевском кабинете) в фальсификации «ленинградского дела» и садистских зверствах, содержался в Лефортовской тюрьме; от дачи каких-либо показаний отказался наотрез; следователю дал отвод.

Когда к нему в камеру пришел генерал, работник ЦК в прошлом, назначенный (после ареста Берия) заместителем Главного военного прокурора, проводивший реабилитацию всех необоснованно репрессированных, Абакумов хмуро поинтересовался:

— В чем дело? Я ж сказал — никаких показаний не будет. Точка и ша. И вообще — вы кто такой? Я

вас раньше не видел.

— Я заместитель военного прокурора.

Абакумов расхохотался: в этом его веселом, *дерзком* хохоте не было ничего наигранного или, более того, истеричного:

— Ты мне баки не заколачивай, «прокурор»! Ни на Лубянке, ни в Лефортове ноги прокурора не было и не будет! Это наша вотчина! И н`е хрен со мной комбинации строить, я их все наизусть знаю!

Генерал достал удостоверение, подписанное Прокурором СССР, протянул Абакумову:

— Вот, ознакомьтесь...

Тот взял красную книжку, раскрыл, читал долго, шевеля губами, раз пять, не меньше, потом книжку аккуратно закрыл, вернул ее генералу, обхватил голову руками и начал медленно раскачиваться из стороны в сторону, повторяя:

— Все... Все... Все... Все кончено... Конец... Конец Державе... Конец родине, конец святому делу, конец, конец, конец...

...Назавтра начал давать показания, *выскабливался*.

Держался с полнейшим безразличием; только один раз разбушевался: «Я санкции на расстрел доктора Шимелиовича и Этингера не давал! В

бумагах генералиссимуса ищите!»

Был приговорен к расстрелу.

Расстреляли.

...«Золотую Звезду» Героя Советского Союза Всеволод Владимирович Владимиров (Исаев) получил из рук Ворошилова, который вместе со Сталиным и Молотовым шестнадцать лет назад подписал *список* на расстрел учителей и друзей Исаева товарища Уборевича, Антонова-Овсеенко, Постышева, Блюхера, Пиляра, Сыроежкина — несть конца этому списку.

Обменявшись рукопожатием с «народным президентом», Исаев обязательного в таких случаях благодарственного слова не произнес, возвратился на свое место за столом заседаний, а перед началом коллективного фотографирования ушел, сославшись на недомогание.

Через месяц он начал работать в Институте Истории по теме «Национал-социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма».

Ознакомившись с текстом диссертации, секретарь ЦК Суслов порекомендовал присвоить товарищу Владимирову звание доктора наук без защиты, а рукопись изъять, передав в спецхран...